

Нам — 85!

ISSN 0012-6756



Дружба народов

2/2024



В номере:

Бешеный жених

Роман «Треугольная Земля» Александра КАНА — попытка художественного осмысления эпохи перемен: распад советской империи и хаос постсоветского существования — через любовный треугольник. В традиции апулеевских «Метаморфоз» и смеховой культуры раблезианства автор изображает картину мира конца XX века: страданий, разочарований и отчаяния человеческих душ, и в то же время — неизбывной стойкости и веры в божественное предназначение человека.

«Под звуки пальбы и разрывы сердец»

«Что ж, значит — снова и снова,/ значит — опять и опять,/ счастья не зная иного:/ жить-умирать», — констатирует Феликс ЧЕЧИК. Его философская лирика — о трагедиях современности, об ответственности за них каждого человека и всего человечества: «Будто не облажалось/ человечество и/ не давило на жалость,/ не молило любви». Михаил РАНТОВИЧ считает: «Свободу под звёздами можно на вкус/ распробовать — холоден воздух и едок». Родиону МАРИНИЧЕВУ важно ощущение связи поколений, когда «между Чуком и Геком/ взрослым идёшь человеком/, шестилетнего сына держа за руку». Константин ШАКАРЯН пытается «читать судьбу по букварю» и видит в судьбе поэта «и рок, и долю». В этом номере — его стихи и переводы армянского поэта Бабкена СИМОНЯНА.

Традиции и современность эмиратского рая

«Иностранцы, приехавшие работать в ОАЭ, или экспаты, составляют 85% трудоспособного населения страны. <...> Граждане России и стран СНГ могут рассчитывать на высокооплачиваемую работу в Эмиратах только при хорошем знании английского языка. Численность русскоязычных экспатов заметно возросла в последнее время (торговые центры и сфера обслуживания, администраторы в отелях, риелторы, экскурсоводы...). Некоторые россияне открывают собственный бизнес. Чтобы официально работать в ОАЭ, необходимо иметь рабочую визу и зарегистрироваться в Департаменте труда». Автор очерка «Страна-сказка Арабского Востока» Елена ТАРИЛОВА, живущая в Дубае уже тридцать лет, рассказывает о самых разных аспектах жизни в этом уникальном уголке мира, который наши соотечественники начинают активно осваивать.

Александр Межиров: неюбилейное

«...На даче у Межирова уже в 1986-м мы за бутылкой водки, принесенной хозяином дачи от нежадного соседа — Евтушенко, вели вечернюю беседу до поздней ночи с называнием имен, и чаще всего возникали имена Смелякова и Слуцкого. Особенно его — Слуцкого. Межиров, как всегда, читал наизусть, и его чтение потрясало. “<...> Я — ржавый гвоздь, что идет на гроба./ Я сгложусь судьбине, а не судьбе./ Когда обильны твои хлеба,/ Зачем я тебе?” Было совершенно ясно, что Межиров говорит о первом, на его взгляд, поэте эпохи. Я понимал, что присутствую при подведении итогов. Кончилось многодесятилетнее ристалище. Венок победы доставался сильнейшему». Илья ФАЛИКОВ в эссе «Прощение мастерства» вспоминает свои встречи с Александром Межировым и размышляет о его поэтической эволюции, парадоксах личности и о ремесле поэта.

Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.12.2023.
Подписано в печать 23.01.2024.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отг. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Ольга
БРЕЙНИНГЕР

Денис
ГУЦКО

Фарид
НАГИМ

Илья
ОДЕГОВ

Валерия
ПУСТОВАЯ

Ренат
ХАРИС

Александр
ЧАНЦЕВ

ЭЛЬЧИН



ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Феликс ЧЕЧИК. Под звуки пальбы и разрывы сердец. Стихи	3
Александр КАН. Бешеный жених. Отрывок из романа «Треугольная Земля»	7
Михаил РАНТОВИЧ. О трепете и о превратности жизни. Стихи	68
Ася МИХАЙЛОВА. Миф о сотворении мира. Рассказ	70
Константин ШАКАРЯН. Читать судьбу по букварю. Стихи	99
Бабкен СИМОНЯН. Я восходил на Арарат. Стихи. С армянского. Перевод Константина Шакаряна	101
Ринат ГАЗИЗОВ. Тело ЧОПа. Рассказ	104
О.КАМОВ. Как Гагарин. Рассказы	130
Родион МАРИНИЧЕВ. Пока не иссяк хлорофилл. Стихи	140
Андрей ЛОМОВЦЕВ. Баба Зина. Рассказ	144
Рустам МАВЛИХАНОВ. Ангел FM. Рассказ	158
Гульназ ЛЕЖНЕВА. Бабай. Рассказ	167
Евгений ЖУРАВЛИ. Сарлма. Рассказ из сборника «Афганский словарь»	174
Марина МАЗУРЕНКО. Весело гореть. Стихи	179

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ «ДН»

Вилюс МИЗАРАС. Из книги «Амаркорды». С литовского. Перевод автора	181
---	-----

НАЦИЯ И МИР

Елена ТАРИЛОВА. Страна-сказка Арабского Востока	191
---	-----

ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

Илья ФАЛИКОВ. Прощение мастерства. Александр Межиров: неюбилейное....	202
---	-----

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

Вера КАЛМЫКОВА. Разворачивая пространство. Художник Вера Колганова	240
--	-----

ПЕРВЫЕ СТИХИ

Надежда КЕЛАРЕВА. «Пришла зима красивая...»	244
Григорий КНЯЗЕВ. Азарт	245

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Николай АЛЕКСАНДРОВ. Закрытость правды (Л.Юзефович. «Поход на Бар-Хото»)	247
Ольга ДЕВШ. Слово из тысячи (А.Чанцев. «Духи для роботов и манекенов»)	250
Ольга ИСТОМИНА. Есть только прошлое (Х.Побяржина. «Валсарб»)	252
Елена КРЮКОВА. Наказание бессмертием (А.Гончуков. «Доказательство человека»)	255
Андрей ПЕРМЯКОВ. Ответственное хранение (Альманах «Александровская слобода»)	259

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Колонизация, деколонизация... ..	264
---	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Классный час	268
----------------------------------	-----

Summary	272
---------------	-----

Феликс Чечик

Под звуки пальбы и разрывы сердец

* * *

Дома и стены, тем более потолок, —
не говоря уже о любимых книгах.
На полке бюст: А.А.Блок,
снявший крылья ангела, мечтающий о веригах.

Лист А4, икеевский карандаш.
Что ещё нужно для счастья? Две-три вещи:
тридцать шесть лет брака — приличный стаж,
взрослые дети — редкие встречи.

В общем-то всё! Ну, может быть, самую малость:
мрак крошечный и беспощадный стыд,
жизнь, что была исправна и вдруг сломалась,
Кремль, Дума, ВС, МВД, МИД.

Малой родины белая сажа или
млечной родины лажа и неглиже.
Счастлив тот, кого уже разлюбили!
Счастлив тот, кто разлюбил уже!

Чёрт знает что — висят на гвозде рога.
На потолке верёвка грустит о вые.
Вместо стен: степи, поля, луга.
А потолок — небеса голубые.

Феликс Чечик — поэт. Родился в 1961 году в г. Пинск (Беларусь). Окончил Литературный институт имени А.М.Горького. Автор нескольких сборников стихов и многих публикаций в литературных журналах. Лауреат «Русской премии» (2011) и международной премии им. И.Ф.Анненского (2020). Живёт в г. Нетания (Израиль).

* * *

Выйду я из подъезда,
закурю, как живой,
и захлопнется бездна
над моей головой.
Будто не было этой
пустоты навсегда
над прекрасной планетой,
что страшнее суда.
Будто не облажалось
человечество и
не давило на жалость,
не молило любви.

Будто — снова и снова —
ждёт и верит оно,
что взойдёт в полшестого
золотое руно.
Не взойдёт — не надейся, —
ни за что, никогда,
опереньем индейца
на рассвете звезда.
Умолять бесполезно,
дать мгновенье займы:
не захлопнется бездна —
бездна — мы.

* * *

Сутулясь и горбясь, мы жили с тобой.
Мы пропили глобус и шарф голубой.
Но хочется верить, что жили не зря,
осенние листья кура.

Мы ехали шагом — всегда на бровях —
от города Ош и до станции Ах, —
с фингалом под глазом, разбитая бровь.
Но ставили вновь на любовь!

Мы всё, что стояло, — спустили давно.
И пенилось ало заката вино.
И радовались, что живём снова,
поставив опять на слова.

Пора успокоиться бы наконец!
Под звуки пальбы и разрывы сердец —
поехать бы по небу — мать-перемать,
чтоб травы небесные мять!

Так нет же — никак не уймёмся... И мы:
на фоне зимы и зловонья тюрьмы
военно поём на манер снегиря,
весенние листья кура.

* * *

Ты знаешь, как ни странно —
душе необходим
берлинского тумана
иссиня-белый дым.

Я им дышал — каких-то,
быть может, полчаса,
как на рассвете пихта
вдыхает небеса.

Так на закате птица
поёт, совсем как ты,

чтоб в бездну провалиться
полночной немоты.

Что ж, наша карта бита,
и тишина в груди.
Лишь призрак Моабита
маячит впереди.

Взошла на небо мама
и светит, как звезда.
Мы вышли из тумана,
оставшись навсегда.

* * *

И разбитую — я
скотчем склеивал чашку,
понарошку живя,
как «Памир» не взятяжку.

Стыд кромешный без дна
и Сенатская площадь,
словно капля одна,
не убившая лошадь.

Два — навеки — в одном:
меч картонный без ножен...
Дивный сон о ночном,
несмотря, что стреножен.

* * *

В.Г.

Пусть не сейчас, но очень скоро
увиджу, подмигнув в ответ,
единственного светофора
в ночи потусторонний свет.

Как мой неутолённый голод, —
скорей снаружи, чем внутри:
он был одним на целый город
на фоне утренней зари.

Ты помнишь? Помню. Не забуду, —
с безумием накоротке,

как и разбитую посуду
в одноимённом кабаке.

Где наши Маши, Раи, Ани?
Да, там же, где и мы с тобой:
мы стали «убылью» по пьяни
и проиграли смертный бой.

И нам положенная фора —
растаяла за столько лет.
И мы стоим у светофора
и молимся на красный свет.

* * *

Было дело до войны —
grosso без concerto.
Было дело до вины
нашей, а не чьей-то.

Невесёлые дела,
и почище бреда.
Не поверишь — жизнь была
музыкой Альфреда.

Ты уверен, что она
в тишине звучала
и пьянила без вина
с самого начала?

Я уверен, что сердца,
музыке внимая,

собирались без конца
жить победой мая.

И жилось и пелось нам,
как в иголке нитке:
возвращением к корням
и любовью Шнитке.

Птицы певчие слышны
в небесах зачем-то...
Было дело до войны —
grosso без concerto.

Что ж, у Баха попроси,
млечная Россия:
ноту «до» и ноту «си»,
и прощенье сына.

* * *

Подозревая, что лету
нет и не будет конца,
я призываю к ответу:
память, надежду, Отца.

Сделайте, хоть на мгновенье,
не культивируя зло,
чтобы моё подозренье
семенем не проросло.

Чтоб, как от «выдоха-вдоха»,
крови меняя состав,
облако вышло из дока,
тучей беременной став.

Чтобы пролился, как песня,
утренний дождь наконец...
— До смерти жаром упейся, —
рек триедино Отец.

Что ж, значит — снова и снова,
значит — опять и опять,
счастья не зная иного:
жить-умирать.

* * *

Не подписывался на такое.
Опускаясь на самое дно,
я мечтаю уже о покое,
не мечтая о воле давно.

Я мечтаю, мечтаю, мечтаю...
И за это я был награждён
не смотреть на осеннюю стаю,
проливаясь счастливым дождём.

Повезло, наконец-то, пролиться
и сподобиться жизни такой,
омывая родимые лица,
обретая покой.

Александр Кан

Бешеный жених

Отрывок из романа «Треугольная Земля»

Страх дремоту прогнал; с покрывал поднимаюсь в испуге
И покидаю, вскочив, ложе пустое моё.

Публий Овидий Назон

1

— А теперь пусть наши дети погуляют, — тихо произнесла Соня, объявила как приговор и попыталась улыбнуться, но вместо улыбки получился оскал.

Скрывая волнение, она провела ладонью по дрожащим губам, Ваня осторожно взял её под локоть, другой рукой — Нору, подвёл к беседке: вошли и сели, две скорбные женщины, обе одетые в чёрное, в чёрных платках, Ваня сел между ними — слугою траура, — и все трое замерли.

— Старые они! — сказала Нина и повела Сашу к перелеску. — Пойдём, я не люблю, когда старость смотрит в затылок. Сверлит...

Они быстро, почти убегая, достигли рощи, и вот тени, опавшие листья, носки ботинок, разгребавшие ворох листвы, — всё окрест как-то сразу укрупнилось, стало зримым, отчётливым, плотным.

— Не люблю старость, — повторила Нина, — но люблю тень, потому что в тени можно спрятаться и не надо ни за кого стыдиться.

— Стыдиться? — не понял Саша.

— Ах, давай присядем! — сказала Нина, видя, что узенький перелесок уже заканчивается и впереди желтеет бескрайнее поле. Плюхнулись прямо в листву, Нина, закидывая голову к небу, легла и вздохнула.

— Знаешь, всё как-то странно, — заговорила она. — Неизвестно, что они нас придумали... Кстати, они в самом деле твои родственницы?

Александр Кан родился в 1960 году в Пхеньяне (КНДР). Окончил Республиканскую физико-математическую школу в Алма-Ате, Московский институт электронной техники и Литературный институт им.А.М.Горького. Автор многих книг прозы, в том числе «Век Семьи», «Невидимый Остров», «Книга Белого Дня», «Родина» и др. Победитель международных литературных конкурсов в Москве, Берлине, Сеуле, Анн-Арборе, Беркли. Живёт в Алматы (Казахстан).

Предыдущая публикация в «ДН» — повесть «Сны нерождённых» (2022, № 10).

— Да, — глухо ответил Саша, плотно сжал рот, чтобы не расплескать в себе неправду.

— Да и неважно кто... — говорила Нина, казалось, и не слушая. — Но, наверное, этого можно стыдиться — что ты вышел из стен, что ты родом из чулана... Кстати, как всё-таки твоя фамилия?

— Ли, — ответил Саша.

— Ли?.. Нет, это не фамилия. Лучше я буду звать тебя Саша Чуланов! — усмехнулась она. — Подруги станут спрашивать, где ты познакомилась с этим молодым человеком? И что я им скажу?

— Ты вообще можешь им ничего не говорить, — обиделся Саша. — Вот сегодня погуляем по лесу, и до свидания!

— Не обижайся, дурачок, ты меня не понял, — рассмеялась Нина и взяла его за руку. — Все мои подруги стыдятся своих кавалеров, и если не сразу, то позже, но — обязательно. В этом есть что-то глубоко женское — стыдиться своих мужчин. Мама ведь только потом стала сочинять легенды про нашего папу, а на самом деле ей всегда было просто стыдно, что отец — какой-то там трубопроводчик, пусть даже самой высокой квалификации, всю свою жизнь прокладывавший эти чёртовы трубы неизвестно ради чего! До сих пор неизвестно... И во мне всегда жил стыд, я, можно сказать, родилась с этим стыдом. Так что помимо женского, это и глубоко семейное... Вот послушай! — она напряглась, и было заметно, что заранее нервничает. — Но только обещаю, что никто не узнает о том, что я расскажу тебе о своём стыде.

— Обещаю, — твёрдо произнёс Саша и лёг в траву, стал смотреть в небо, которое как-то стыдливо просвечивало сквозь ветви деревьев. «Я сам как стыд, — подумал он, — хотя бы потому, что никогда толком не видел неба и тем более себя с высоты этого неба — всей своей жизни — одни каменные потолки, стены, пол, которые сжимались до размеров тела, замирали, словно думая, — удавить его насмерть? — и медленно отступали назад, зачем-то жалея».

— Ты помнишь? Тогда, в чулане? — спросила Нина. — Я тебе начала рассказывать о себе и о своём любовнике...

— Который исчез?

— Да... То есть это не совсем так. Я тебе рассказала самый конец истории, — задрожал её голос. — А сейчас сначала. И всё, конечно, было не так гладко, как я тебе тогда рассказывала... В общем, у меня был любовник, старый и красивый, намного старше меня, — начала Нина, облекая Сашины мысли в свои слова, интонации, в свою историю, и потому расталкивая потолки и стены, преследовавшие его. — И, в сущности, он годился мне в отцы. Он безумно любил меня, мне нравилось, как он за мной ухаживал, как стоял под окнами, как встречал, как дарил цветы, как обнимал и целовал... Ох! — вдруг застонала Нина. — Скажи, что такое люди? Твои приятели, знакомые, или нет... Я на людях стыдилась его, я стыдилась его возраста, седины, движений, и особенно того, что он очень старался казаться молодым, как бы моим ровесником. Он даже ходил со мной на виду у всех совсем по-другому. И я ненавидела его походку, но больше всего я ненавидела себя за то, что ненавидела его походку и вообще все его старания! Тебе интересно? — испуганно спросила Нина, казалось, только что вспомнив о Саше, словно всё это время она разговаривала сама с собой, сидя, к примеру, в пустой комнате, прислонившись щекой к прохладной стене.

«Правильно, а к чему же ещё, — вздохнул Саша, — ведь стена для рассказчика есть самый близкий и чуткий собеседник».

— И потом я часто устраивала ему скандалы. И никак не могла объяснить, что... что не надо ему так стараться, не надо, я ругалась, кричала на него и, знаешь, соглашаясь, он плакал, он покорно кивал. И вот однажды мы с подругами, эх... — тяжело вздохнула она, — опять эти чёртовы подруги... поехали в лес на пикник,

вот такой же, как сейчас, в лес, и у каждой, конечно, был парень, все молодые, и я одна со своим... старшим товарищем. «Ты возьмёшь его?» — помнится, хихикали подруги, — ох, как я порой ненавижу их!.. В лесу, как водится, устроили костёр, застолье, — ели, пили, пели, шутили, разговаривали, и мой любовник был в ударе, на высоте, умный, образованный, и казалось, тогда он был просто счастлив, и никто из подруг и друзей подруг даже и не пытался хоть малейшим образом намекнуть на его возраст... И было, я помню, в тот день как-то светло, тихо и радостно, как-то очень покойно. И я не поверила, я просто перепугалась, я вдруг подумала, что так не может долго продолжаться, что в этом светлом затишье таится какой-то обман, и что вот-вот кто-то начнёт издеваться над моим старым и красивым любовником... После, когда ничего так и не произошло, когда все разбрелись по парам в разные стороны — в тень, в рощицы, — когда мы остались вдвоём, я сказала ему: *встань и иди за мной*, и когда мы пошли... — я до сих пор не знаю, что со мной в тот момент произошло! Я думаю, Саша, во всём виноваты люди, которые смотрят на тебя, смотрят и смотрят, — на то, кто ты, с кем ты, как ты, кого ты любишь и как ты смотришь на них... в общем, когда мы пошли, я вдруг крикнула ему: догоняй, теперь догоняй меня! ты обязательно должен меня догнать, а иначе... ничего у нас с тобой не выйдет! И я побежала по полю, затем сквозь чащу, сквозь деревья, кусты, сбивая ноги, спотыкаясь и падая, расцарапывая ветками лицо — чем больней, тем лучше! — бежала и слышала за спиной его тяжёлое дыхание, бежала и думала: старый, старый, больной, так тебе и надо! Хотя бы слово сказал, — терпит, бежит! Ну и что, что красивый, вальяжный, думала я, ну и что, что кто-то мне втайне завидовал, считая, что он лучше всех молодых, сто очков вперёд, — я бежала и знала, как ему тяжело, что — да! — совсем не здоров, что за два месяца до нашего знакомства перенёс тяжёлую операцию, связанную с какими-то драматическими событиями, после которых он так радовался жизни, так любил её и, быть может, по-настоящему он был моложе всех нас, глупых и патологически здоровых, был намного моложе нас... Ооо! — застонала Нина, повернулась к Саше. — О, если бы тогда он попросил меня остановиться, попытался бы осечь, старый и глупый, меня, молодую и глупую, но нет, он в самом деле пытался догнать, всё бежал и бежал за мной... И вот, исцарапанная, я выбралась из чащи и помчалась по поляне, но, споткнувшись, упала и осталась лежать, потому как у меня у самой уже не было никаких сил. Саша! — она вдруг схватила его за руку, стала трясти. — Саша! Я прошу тебя... Ударь меня! В кровь, наотмашь, — изо всех своих сил! Ну! Ну, я прошу тебя!!

Саша удивлённо глядел на неё и не знал, что делать, и, глядя ей в глаза, почему-то видел в них далёкое и другое: Соню, как плакала она, сидя в беседке, а Иван пытался её успокоить, рядом Нора, мать Нины, тоже, словно подпевая ей, плакала, а ещё дальше, в самом городе, он видел, как страшные зоологи Гертруда с Германом, с которыми Соня разругалась в пух и прах после того, что они сделали с ним, Сашей, в тёмной комнате, теперь же что-то делали со своим пасынком, спинами закрывая его от любопытных взглядов, словно он на хирургическом столе — лязг-лязг, скальпель, ножницы, молоток, зубило... — и вдруг, почувствовав его взгляд, воровато обернулись, и тогда он решился и погрозил им — прекратить эти жуткие эксперименты! — и тем же жестом остановить слёзы у женщин в беседке, и — тем же ударить Нину, которая так ждала и так его об этом просила.

Бах! — пощёчина, Нина вздрогнула, с облегчением вздохнула, в глазах благодарность и боль, а точнее, боль, и улыбка, и слёзы, а ещё точнее — боль и боль.

— В конце концов, я поднялась и пошла обратно, — продолжила Нина. — Я шла и чувствовала, что случилось что-то непоправимое, я вышла из рощи и увидела его... лежавшим лицом в траве. Ему нечем дышать! — почему-то подумала я и бросилась было к нему с немедленным желанием перевернуть, я почему-то думала, что всё дело в его неправильной позе, но подруги раньше меня сбежались, вместе со своими молодыми и здоровыми... И я вместо того, чтобы подойти к нему, вдруг бросилась

обратно в лес, в самую чашу, забила под кустарник, сидела, дрожала, не отзываясь на их страшные крики, превращаясь в камень... Камень, — выдохнула Нина, не отрываясь глядя на Сашу. — Теперь ты понимаешь, почему я с тех пор стала искать его, несчастного?! Да-да, искать и звонить ему, о чём я тебе уже рассказывала! Теперь ты понимаешь, почему для меня наступило время телефонных будок: в каждой из них я ждала и жду его, старого, благородного и красивого, и с тех пор такого непослушного, жду его со своими новыми и отвратительными приятелями, и так мне и надо, и, может, очень скоро — я так решила! — я выйду на главную площадь нашего города и буду стоять там у всех на виду, и пусть подонки делают со мной всё что угодно, пусть ночью, если днём им стыдно, а если и ночью стыдно, то я приведу с собой своих телефонных приятелей, вот они всему и научат! — сказала совершенно бледная Нина и зарыдала.

— Нина, — выдохнул после долгой паузы Саша, обхватил её за вздрагивавшие плечи. — Это не выход. Я сам столько времени был, а может, и сейчас есть каменный столб, ты помнишь, как нам сказали Соня и твоя мать вдогонку «дети»... Может, мы в самом деле дети, которые заблудились в тёмном лесу и, может... нам стоит придумать с тобой какую-то новую игру, чтобы выбраться из этого леса?

— Да, игры... в игру... — откликнулась сквозь слёзы Нина и прикоснулась щекой к его, положила ему голову на плечо, затихла, замерла — надолго. Может, думала о том, что в самом деле нельзя с такой печали начинать своё знакомство с Сашей Чулановым, рассказывая *свою* не-жизнь, тем более ему, вывалившемуся из *своей* не-жизни, а надо начинать истории совсем по-другому, с какого-нибудь из ряда вон выходящего события, к примеру — свадьба грядёт, любовник, старый и красивый, желает стать мужем, и вдруг невеста бежит — прямо из-под венца! — а он, седой и благородный, и не думает догонять — девчонка, ещё вернётся! — да, с этого, может, и стоило бы начинать её историю, а то ведь что же это за начало: «*В конце концов у него стали отниматься ноги...*» Быть может, вы, автор, думала с возмущением Нина, собрались писать учебное пособие для молодых ортопедов, тогда понятно, пишите и предлагайте, ну а любовные романы, к вашему сведению, надо начинать с любовной интриги, — так что идите, автор, и поступайте в Литературный институт, и если мы с тобой, Саша Чуланов, шептала ему на ухо Нина, давно оставлены и Богом, и родными, и авторами, тогда начнём всё заново, и, главное, — сами!

— Сейчас и сами! — решительно отстранилась от него Нина, охваченная пронзительной мыслью. — Саша, а ты смог бы меня догнать? Нет, ты только представь: я побегу, ты досчитаешь до десяти, ты бросишься за мной, я понимаю, это старая игра, но... — задрожала она от волнения, — ты же сам говорил, что так нельзя: ты — столб, и я — камень, и значит, нам надо всё менять самым решительным образом!

— Да, надо! — без раздумий улыбнулся Саша. — Я бы хотел бежать за тобой так... так самозабвенно, я, столько тосковавший по безоглядному движению! Давай попробуем начать всё сами и заново!

— Ну хорошо! — Нина сияла, счастливая. — Закрой глаза и начинай считать. Ты готов? — улыбалась она, пока ещё такая близкая. — Я готова!

— Раз, — начал отсчёт Саша, улыбаясь ей. — Два, — улыбался он с закрытыми глазами ей в спину, а Нина — шумно, сквозь ветви, опять обдирая ноги и лицо, — шаг за шагом выбежала из рощи, на мгновение замерла, перед глазами качалась жёлтая равнина, словно недопитый Богом бульон на дне гигантской земной чаши. — Три!!!

...Три! Иван вскочил, как будто стартуя в небо самолётом-разведчиком, стукнулся о деревянный потолок беседки, сморщил лицо и потёр макушку:

— Давайте обедать, наших ребят не дождёшься!

— Да, давайте, — согласилась Нора, — пусть гуляют, резвятся.

— Пусть резвятся, — кивнула Соня. — Да, будем обедать, вполне приличное занятие, а то я всё плачу и плачу, — криво улыбнулась она, готовая вновь расплакаться

оттого, что мир, такой жестокий, отнимал у неё сейчас Сашу, которого она, выдавая за своего племянника, вынуждена была отдать — боже, как возможного жениха?! — в дом своей подруги.

— Десять! — произнёс Саша и, подпрыгнув, бросился вперёд, ломая ветви и обдирая лицо.

Бух! — хлеснуло его по глазам наотмашь, когти деревьев знают, куда бить, страшная лесная сказка, — бежал, боли совсем не чувствовал, видел только впереди её белое платье, жёлтый платок на шее, её упругую стройную фигурку, — он никогда ещё так счастливо не бежал, широко выбрасывая ноги, чуть касаясь земли, и грудь его наливалась воздухом.

«Аааа! — звенел его голос, летел по полям и лесам. — Здравствуйте, леса и поля! Здравствуйте, люди земли, бренные, бедные, вы не знаете, что счастье человеческой жизни заключается в том, чтобы... догнать другого человека, то есть мне — Нину, догнать и обнять её, с детским восторгом повалить наземь, прижать к земле, сказать ей, переводя дыхание, — ты слышишь? — что твой *догоняющий*... жив, что теперь ты можешь жить по-другому, и все эти глупости с городской площадью и телефонными будками ты можешь забыть навсегда!»

А Ветер, ещё певший в его груди, заметив Нину, понял всё по-своему: разлучница! меня променять на девку? — и туго, до боли, до слёз в глазах — вырвался из его тела, закружил, подбрасывая листву, и ураганом набросился на Нину. Подхватил, задрал ей юбку и снизу, с яростным гулом, невидимым, но шершавым столбом, пронзил её.

— Са-ша! — вдруг испуганно выкрикнула она, ничего не понимая, глаза как блюдца, в блюдах дымился ужас, — тянула беспомощно руки к нему, разевала рот, как кукла, посаженная на невидимый кол, висела в воздухе, в двух метрах от земли — с широко расставленными ногами.

Ветер сорвал с неё жёлтый платок и, подбрасывая, пронзил её ещё раз, — от и до, а после — тряпкой! — отшвырнул в сторону и, играя с косынкой, понёсся дальше. Нина же, сжимая обеими руками рану между ног, рухнула, сжалась в комок и лежала, бледная, на земле, совсем не плакала, а как бы пыталась дышать, в груди — пустота, во всём теле Ветер, прошивший её, не оставил, казалось, ничего живого.

— Да, а что же ещё со мной можно делать? — задышала, наконец, Нина. — Мне не привыкать! — И поползла, распластавшись, в слезах, закусив губу, к Саше сквозь густую изумрудную траву, которая всё видела и, раскачиваясь, над ней смеялась, — раскачивалась и стелилась, распутная, под ненасытным Ветром, шалившим с ней, но не вторгавшимся в лоно земли, лишь дразнившим её ленивое и сытое тело. Подразнил и, оторвавшись от постылой пузатой любовницы, полетел дальше, взмыл к небу, всё играя с жёлтым платком Нины, взлетел на гряде, скатился с неё и опять поднялся на гребень.

— Ха! — усмехнулся Ветер. — Всё слышат и видят девка и его пасынок, и лес, равнина, холмы, — да, кстати, как там мои холмики? — вспомнил Ветер и сорвался с места, полетел к другим холмикам — благо для Ветра нет расстояний, — сделанным из таинственного материала QQ 1996, и холмик по имени Цефалий уже жаловался Ветру как своему хозяину, осыпаясь, мол, теряю статью и форму, я, последний из могикан, кто остался в живых из доблестных мужей-трубопроводчиков, помоги мне, Ветер, собери окрест песок и глину, ведь тебе это ничего не стоит, несколько дней, и мы с тобой выстроим пирамиду выше Хеопса, ты и я, будем властвовать над всеми трубами мира... — Неужели? — изумился Ветер. — Ты, обрубок, надеешься ещё над чем-то властвовать в этом мире? — И, захохотав, свирепо набросился на Цефалия, чтобы сбить, сравнять его с землёй, этот ничтожнейший холмик, мечтающий стать пирамидой Хеопса.

— Ах! — застонала Нора, вспомнив о погибшем муже Цефалии чутким сердцем, и полились из глаз снова слёзы, и Соня, всё ещё мучительно прощаясь в мыслях с Сашей, глядя на подругу, тоже не удержалась.

Михаил Рантович

О трепете и о превратности жизни

* * *

Свободу под звёздами можно на вкус
распробовать — холоден воздух и едок.
Мой адрес не дом, а банальный союз,
составленный квинтиллионами клеток.

За систолу и за диастолу им
спасибо — за эту ритмичную рифму;
за то, что покровами кожи храним;
за фасцию, кровь и бесцветную лимфу;

за мозг — героический грецкий орех;
за вечнозелёную крону сознания,
где прячется мой торжествующий смех:
как это чудесно! как это случайно!

И жду я, что выпадет мне под конец —
деменция или люцидный делирий, —
однако спасибо, хоть я не жилец,
но лишь постоялец на съёмной квартире.

* * *

Обезоружен январём, я руку подниму,
ощупаю себя, лица не обнаружу.
Сознания нет, оно заключено в тюрьму:
одни глаза наружу.
Перед лицом лучистого, пустого дня,
где мне мучительно, где нет меня,
увидеть щебетание рябин и кстати
сиреневую варежку на снежном скате.

Рантович Михаил Сергеевич — родился в 1985 году в г. Кемерово. Окончил в 2020 году Кемеровский государственный институт культуры. Работает системным администратором. Публикации в журналах «Интерпоэзия», «Юность», «Урал» и других. Участник Международного Форума молодых писателей «Липки» (2022, 2023) и Итоговой мастерской АСПИР (2022). Живёт в г. Люберцы. В «Дружбе народов» печатается впервые.

* * *

Куда бы, сорвавшись, внезапно поехать,
где я никогда не бывал?
Такая причуда, такая потеха.
Куда-нибудь, пересекая Урал, —

допустим, что в Крым, где под сенью синапа
сидеть, любоваться на облачный клочок.
А может быть, не на заманчивый запад,
а может быть, на просветлённый восток,

где днями ходить до упада,
чтоб не было вовсе меня, —
одна лишь бессонная злая цикада,
одна лишь японская поступь коня;

потом, отдыхая, вздыхать об отчизне,
чужие теперь подбирая слова
о трепете и о превратности жизни,
о том, что зимою легка голова.

* * *

В любое время и в любой стране,
при самом тираническом режиме,
кто остаётся над и в стороне —
недосягаемей, недостижимей?

Поэт? Нет — вообще не человек,
на бабочек смотрящий осторожно.
Их можно летом видеть возле рек,
а в феврале их видеть невозможно.

* * *

облетят
беззаботные бабочки
и взволнованная листва
подчиняясь природному распорядку

время пересыхает
осталось едва
ветер неторопливо несёт
облачную облатку

словно в подпалинах мех
сумрак в парке подсвечен
и подумаешь на виду у всего
на виду у всех

обыкновенный вечер

* * *

Я обнял плечи, обнял рёбра
и посмотрел вперёд, где небо за окном
не помещается в окне, а потому недобро
глядит многоочитостью — но что мне в том?
Когда бы обнял я, когда б я обнял
весь хрупкий мир, нащупал жилку, нежность, связь!
Я вспомнил, как однажды шёл и вспомнил
то, что забыл, а тут вдруг вспомнил —
как отразилось небо на чужом зрачке,
в него вместясь.

Ася Михайлова

Миф о сотворении мира

Рассказ

Вагон был старый. Болезненно-бледный, в царапинах-морщинах и с аритмией в гулком стуке колёс. Женя трясся, прикрыв глаза, пока толпа вокруг него медленно таяла. Ноги гудели, сесть, как обычно, удалось только в конце ветки. Он упал на коричневое жёсткое сиденье, вытянул ноги в стоптанных дешёвых кроссовках в проход. На последних шумных десяти минутах успел задремать и из вагона выходил сонным, тёплым, глупым. С несколькими оставшимися пассажирами он поднялся по лестнице и выпал во влажный ноябрьский вечер. По грязи добрался до остановки, минув праздничную иллюминацию окраины: мигающие вывески ларьков и рекламных растяжек. Маршрутка была почти пустая: сонная женщина с неизменным целлофановым пакетом на коленях и потёртые мужчины в кожаных куртках. Сквозь запотевшие окна пробивались красные огни вечной пробки. Хрущёвки, тёмные, потрескавшиеся, с жёлтыми хребтами подъездных окон, были такие же, как в родном Мурманске, — они даже смеялись с Юлей — столько проехать и вернуться в знакомый двор. Лифт снова не работал, на шестой этаж Женя заполз пешком. Он остановился, расстегнул тяжёлую мокрую куртку, нашёл в рюкзаке зарядку — чтобы не шуметь, не разбудить, — и только потом осторожно открыл дверь и вошёл. Он разделся, нащупал крючок. По узкому коридору прошёл на кухню, проверил кастрюли: как и ожидал — пустые. Электронный циферблат на микроволновке мигнул: 00:45. Женя подмигнул в ответ. Юлия наверняка проснётся ночью и наверняка голодная. Он поставил воду, стараясь не шуметь. Пока она закипала, завалился в душ — под дешёвой форменной курткой он ужасно потел. Голым вернулся на кухню, засыпал гречку. Свет включать не стал, остался в синеватом газовом мерцании. Открыл на телефоне учебник, попытался осилить хотя бы одну страницу, но строчки трусливо бежали из-под век. Он сдался, без интереса минут двадцать полистал ленту с пустого аккаунта. Выключил закипевшую, наконец, гречку.

Дверь в спальню привычно скрипнула. Юлия неплотно задёрнула шторы, и в комнату натёк грязный уличный свет. Она лежала на кровати в обнимку с одеялом,

Ася Михайлова родилась в 1994 году в Москве. Окончила магистратуру «литературное мастерство» в НИУ ВШЭ. Рассказы печатались журнале «Урал», в антологиях и сборниках. Лауреат конкурса короткого рассказа «Сестра таланта». Живёт в Москве.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

одну ногу положила сверху. Стоило коснуться её взглядом, и сразу вокруг всё как-то смазалось, ушло в расфокус: и пятна разбросанной по полу одежды, и теснота обступивших стен — так даже лучше, сходите, давите, ещё ближе, ещё теснее. Он подступил, едва слышно, почти на полупальцах. Теперь заметно было, как она дышит, виден был отблеск рыжего в волосах и родинка на голом бедре. Он помедлил перед тем как лечь. Каждый раз это чувство, словно кто-то держит его за руку и не пускает, дёргает в сторону: «Куда ты лезешь? Я тебе щас!» Но держать было некому, они были одни в этом городе. Он лёг рядом, осторожно, только бы не скрипнули пружины. А она всё равно почувствовала и, не просыпаясь, потянулась к нему рукой, чтобы уцепиться, притянуть к себе. Заснул он мгновенно, заметив только, как сквозь зазор между шторами на них смотрит краешек луны.

Женя проснулся один, нашарил телефон, проверил время: одиннадцать. Сонно позёвывая, выполз на кухню. Через советский тюль на пол проливалось чистое ноябрьское солнце, на сковородке потрескивала яичница. Юля сидела с ногами на шатком табурете, положив подбородок на веснушчатую коленку, и читала что-то в телефоне. Увидев Женю, она засмеялась.

— Ты чего голый? Оденься иди, холодно.

Женя подошёл ближе к столу, чмокнул её в макушку, тепло пахнущую долгим сном.

— Выспалась? — спросил, не поднимая головы.

— Ага. Спасибо за гречку, она спасла мне жизнь. За это тебе, вон, утренние яйца.

Женя хмыкнул, хотел было пошутить, но Юля его опередила.

— Даже не думай! — она засмеялась. — Иди оденься лучше.

Женя нехотя вернулся в комнату, натянул домашние штаны.

— Как смена? — спросил он, усевшись за столом с тарелкой.

— Ничего, спасибо. Одну кесарили, — Юля отложила телефон. — Ты как вчера, набегался? Не замёрз?

Женя отмахнулся.

— Не, нормально. Не переживай.

— А сегодня? Не пойдёшь?

Женя помотал головой. Юля в ответ счастливо улыбнулась.

— Открой шторы, — попросила Юля, когда они вернулись в спальню.

— Дом окна в окна, Юль. Как в аквариуме.

Юля закатила глаза, но спорить не стала. Женя лёг к ней, и о разногласиях на время забыли. Позже, когда они, прижавшись друг другу потеснее, смотрели сериал на стареньком ноуте, Юля снова залезла в телефон.

— Что делаешь? — без особого интереса спросил Женя, заглядывая в экран. — Это фотка твоя, что ли?

Она не успела вовремя отдернуть руку — он выхватил телефон и открыл её профиль.

— Юль, ты нормальная? Мы же сто раз обсуждали!

Юля мгновенно вспыхнула.

— Не мы обсуждали. Это ты обсудил сам, и сам решил. Никому мой инстаграм не сдался, у меня тут одни коллеги и однокурсники бывшие.

Она попыталась забрать телефон, но он не позволил.

— Это же кто угодно может в интернете найти!

— Ну найдёт, и чего? Твоих фоток тут даже нет.

Женя захлопнул крышку ноутбука и сел на кровати.

— Куда ты собрался?

— Покурить.

Юля взяла его за руку.

— Жень, ну ты чего?

Она прислонилась лбом к его плечу.

— Давай не будем ругаться? И так не видимся совсем, ещё и ссориться будем?

Женя почти машинально нашёл её руку своей и сжал.

— Удалишь инстаграм?

Юля вздохнула.

— Закрою. Идёт?

Женя подумал немного и кивнул.

— Вот и отлично. Иди обратно ко мне.

Про сериал так и не вспомнили.

Перед сутками всегда расставались как будто на вечность. Женя обычно брал ночную смену, чтобы днём успеть позаниматься, и у Юли сердце сжималось, когда она думала, как он носится по ночному городу с этой нелепой огромной сумкой — «Юль, да она для рекламы такая здоровая, полупустую обычно носим» — под дождём, по холоду. Не могла не думать о том, что это ради неё он отказался от перспективы нормальной жизни, это ради неё они сбежали. «Ради нас, — напоминал он ей, — ради нас обоих». Так-то оно, конечно, и было, но почему-то именно ему досталась тяжёлая и бессмысленная работа и учёба в шараге на заочке, а ей — медицинский колледж. «Как будто у тебя работа лёгкая», — снова вступал в силу Женин голос и снова, конечно, был прав. Акушерство, особенно с тех пор, как она пробилась в родзал, комфортной работой назвать было нельзя. После суток Юля возвращалась домой выжатая, выматывалась едва ли не больше, чем Женя. А в первый месяц не могла нормально спать: просыпалась от кошмаров. Приобщиться к чуду рождения не вышло. Хотелось лечь рядом с роженицей и вместе с ней орать. Или хотя бы сделать так, чтобы орать она перестала. Юля надеялась, что, услышав первый крик новорождённого, поймёт, ради чего были все эти усилия, но нет, не поняла. Испытала только облегчение, что всё закончилось... А потом как-то привыкла, освоилась, распробовала это постоянное, отчаянное возобновление жизни. Иногда всё ещё бывало страшно, иногда случалось по пять родов за ночь, и к утру она переставала чувствовать и сочувствовать, да что там — человеком быть переставала. Но зато потом, после отсыпного, её наполняли жизнями, которым она помогла появиться на свет. Их становилось всё больше, кто-то из них уже говорил, кто-то начинал ходить. И у всех впереди была судьба, которой она успела коснуться.

Женя однажды спросил:

— Это потому, что у нас никогда не будет своих детей?

Юля не знала. Детей они и правда не собирались заводить. Слишком опасно, слишком много рисков. Даже если усыновлять — всё равно рискованно. Их всегда могут найти, всегда может вскрыться затерявшаяся в полярной ночи правда. Она много думала и поняла с удивлением, что не любит детей. Что ни одного из «своих» младенцев она не хотела бы забрать домой, что совершенно не видит себя беременной. Её удивляли будущие матери, которые боялись рожать, но совершенно не боялись растить детей. Ведь там, за пределами палаты, опасностей, боли гораздо больше. Страшно становилось потом — страх таился в замерших в ожидании годах.

Константин Шакарян

Читать судьбу по букварю

Зеркальная азбука

Я вижу в зеркале вопрос,
Он ускользает, еле видный.
Усы, пробор, излом волос —
Рассеянный, послековидный.

Чуть вытянутые глаза
И с плеч спадающие руки.
Не распознаешь ни аза
Во взгляде мыслящего буки.

Игра в слова? Ну что ж, веди,
О смысле про себя глаголя.
Судьбу свою разбереди,
Которая — и рок, и доля.

Ни добрая, ни злая весть —
Лишь отражение полной мерой.

Добро — оно добро и есть,
Как ни живи, во что ни веруй.

Зело мудрён язык судеб,
Иже на лбу твоём писаху.
Гляди, покуда не ослеп,
В глаза сомнению и страху.

Благовари за явь и сон,
Зеркального познания мету...
Благодарю — что отражён,
Что на вопрос ответа нету;

Что в силах, в лад календарю,
Тревогой радостною мучим,
Читать судьбу по букварю,
Иному знанью не обучен.

Из дневника

Слабость к поэтам не первого ряда...
— Кто формирует такие ряды?
Этих под лавочку — «Так вам и надо!»
Тех под раздачу — и нету беды.

Русскую литературу сквозь сито
Идеологий, тусовок и схем,
Всю пропустили — и всё позабыто,
Все постарались — и весело всем.

Шакарян Константин — поэт, переводчик, филолог. Родился в 2000 году в Москве. Аспирант факультета русской филологии Ереванского государственного университета. Лауреат премий журналов «Звезда» (2020) и «Наш современник» (2021), международной премии «Отметина» им. Д.Бурлюка (2023). Живёт в Ереване.

Нам остаются «четвёрки» и «тройки»,
Века Серебряного фасад,
Шестидесятник какой-нибудь бойкий,
С родины изгнанный нобелиат.

Нам остаются подробности чисток,
Чёрная проволока катастроф,
Сплетни и домыслы мемуаристок,
И от поэтов — по несколько строф.

Вместо истории — чудо-апокриф.
(Строк и времён распадается связь...)
Да надзирателя-критика окрик:
«Ну-ка, на первый-второй рассчитайсь!..»

* * *

Мы признаёмся друг другу в любви
Нежно, легко, бестолково.
На беспокойства наложены швы,
На расстояния — слово.

Лёгкость оплачена. Время не в счёт.
Мостик бы меж берегами!
Камень лежащий, вода не течёт.
Брось — разойдётся кругами...

«Ты меня бросишь, как камень в окно»¹ —
Строчка всплывает невольно.
Камень летит, и ему всё равно.
Камню на свете не больно.

Брошенный камень. Круги по воде.
Окон разбитых провалы.
Кто же мы нынче, откуда и где?
Будет ли всё, как бывало?..

Стой, не бросайся любовью, замри,
Вспомни теченья приметы.
Жили, журча, от зари до зари...
Кто ты, любимая, где ты?

Сколько воды с той поры утекло!
Камни обкатаны влагой.
Тяжко наводит мосты ремесло
Между судьбой и бумагой...

¹ Строка Алексея Решетова.

P.S.

Ничего — из того, что хотелось,
Ожидалось, мечталось, звалось.
То решительность, то мягкотелость.
То — наизворот, то — на авось.

Ничего — из того, что мечталось...
А мечталось ли, право, о чём?
Слишком многое не отстоялось,
Оказалось навек ни при чём.

Ничего — из того, что кричало,
Пробивая пути среди помех...
Всё — о чём и не знал поначалу,
Всё — помимо тебя и поверх.

Ничего — из того, что знобило,
Горячило, мутило да жгло...
Всё, что кем-то задумано было.
Всё, что было случиться должно.

Бабкен Симонян

Я восходил на Арарат

С армянского. Перевод Константина Шакаряна

Саят-Нова

Ты в мир пришёл и в небо взмыл, звонкоголосый соловей,
Народа горести и боль мелодией заговорил,
И сколько рвущихся сердец согрел ты песнею своей,
Поэт и маг, ашугов всех родной отец, Саят-Нова.

Твой сладкозвучный голос звенит и ныне он, как встарь,
Хватает за сердце струна твоей печальной каманчи.
В Тифлисе песнь твоя взошла, переходя из дали в даль,
О авлабарский бриллиант, златой венец, Саят-Нова.

Симонян Бабкен — поэт, переводчик, публицист. Родился в 1952 году. Автор 15 книг стихов и эссе. С 1975 года занимается — первый в Армении — армяно-сербскими культурными связями, в том числе переводами. Произведения Симоняна переведены на русский, сербский, итальянский, английский и другие языки. Отмечен армянскими и сербскими медалями и премиями. Живёт в Ереване. В «Дружбе народов» печатается впервые.

Но кто понять сумел тебя? Не ты ли, дерзостен и строг,
Стихом и песней восставал, клеймя и свет, и целый мир,
В жестокий век воспел любовь, в безлюбый век любовь возжёл, —
Душа, пронзённая насквозь, любви певец, Саят-Нова!

На берегу реки Куры восходит колокольный звон,
Навеки с песнями в одно сливаются колокола...
Покойся с миром! Над тобой армянский храм — да будет он
Как памятник судьбе твоей и как венец, Саят-Нова.

Челе-Кула

Там, на подступах ко граду Ниш,
Башня воздымается.
Стены из солдатских черепов...
Страшная картина предо мною...

Череп... Повсюду череп...
Воинов погибших череп.
То рукой османца злого головы порублены,
То солдаты сербские погублены...
Светом окропи их души,
Милостивый Боже...

В черепа, как в дудку, свищет ветер,
И звучит столетье за столетьем
Песня смертоносная во мгле:
Челе-Кула, Челе-Кула,
Челе, Челе, Челе-Кула...
От картин ужасных этих
Холодом на нас дохнуло.

Череп в количестве несметном...
Церкви бы стоять на месте этом
И звонить бы колоколу в срок...
Вместо стонов — литургии звуки
Врачевали бы глухие муки,
Восходил бы ладана дымок...

Кажется, во тьме — сквозь этот ад
Смотрят на меня глаза солдат.
Души их застыли в поднебесье.
И доныне в башне страшной той
Череп подхватывают песню
Ветра буйного — глухого гула:
Челе-Кула, Челе-Кула,
Челе, Челе, Челе-Кула...

Раздумья на берегу Аракса

Река из рая — слёзной синевы, —
Печаль твоими плещется волнами,
Ведь стала ты границей, увы,
Меж пращурами нашими и нами.

Я с горечью гляжу издалека,
Колючей проволоке молча внемлю:
Пленила ятаганом нашу землю
Кровавая и страшная рука...

В глазах же наших, сквозь тоску и боль,
Не проволока ты и не граница:
Нет в мире невозвратного, доколь
В сердцах любовь безбрежная хранится.

Тоску свою смешай с моей тоской,
С моей печалью слей свои печали,
Пусть песнь моя сольётся с песнью той,
Что волны мне угрюмо напевали.

Пусть ширится мечты твоей волна!
Напрасно горечь властвует волнами —
Мостом светящимся ты стать должна
Меж пращурами нашими и нами...

* * *

О, как из мира мне уйти, прекрасный Ван не повидав,
Волшебную гору Вараг, родной Сипан не повидав?
Как пересилить эту боль — уйти, покоя не познав,
И пращуров единый край — мой Айастан — не повидав?..

* * *

Я видел сон: пройдя Аракс, я восходил на Арарат.
Едва проснувшись, горький взор я обратил на Арарат.
Придёт тот день, когда меж нас преград не станет и границ, —
В слезах счастливых я взойду, исполнен сил, на Арарат.

Ринат Газизов

Тело ЧОПа

Рассказ

На бумажном комбинате травят пар. Клубится в небе молочная струя, оглушительный запах варёной целлюлозы просачивается на проходную. Запах курятника на миллион куриц, и вылейте на него озеро сероводорода, а сверху повесьте гниющий кочан капусты размером с луну — вот что это. И оно летит из промышленной зоны в город, но доносится, убавившись об природу, тонким шлейфом малой концентрации.

И Валетов вздрагивает, просыпаясь.

Он уже во сне думал глупую мысль: могли бы с паром повременить, ведь утром — газета предупреждала — в город явится премьер или кто-то из Минстроя, будет совещание с местными властями, они же поедут стадион открывать... а может — льготные жилища военным? или что-то по части приютов?... Затем во сне под ногами чоповца на грязном цеховом полу кощунственно раскатывалась белоснежная бумага, был громкий крик, красный свет...

«И чего это я вспомнил? — трёт лицо Валетов, трёт заросший ожог над виском. — Ну шумят-воняют, подумаешь... какой я беспокойный за кого-то».

Он здесь один. Тамара спит на стуле в подсобке. Зелёные диоды «Электроники 7» складывают время в «02:42».

С дробным хрустом Валетов потягивается. Он сидит в квадратной будке внутри прямоугольной проходной, рука сама шупает прямоугольную пачку в квадратном нагрудном кармане: касание к сердцу, шорох картонки, рот появляется для сигареты. В бликующей перегородке вяло отражается усатый мужчина пятидесяти с чем-то лет. На нём висит чёрная униформа ЧОП «Цербер», застиранные пёсьи головы эмблемы убывают на сутулой спине оттенками жёлтого. Перед Валетовым узкая столешница с телефоном, журналы учёта, под оргстеклом прижаты номера разных служб и карманный календарь того года. На столешнице, установившись хвостом и куриными лапками, — зубастый динозаврик, не выше зажигалки. Этого тираннозавра рекса из пластика цвета хаки охранник всегда ставит в будку в свою смену.

Напротив будки охранника криво выступает ставень бюро пропусков, слева — схема комбината, огромная и близорукая. Справа от будки «паспортный стол» —

Ринат Газизов родился в 1988 году. Печатался в журналах «Новый мир», «Сибирские огни» и др. Лауреат премии «Лицей» (2020) за сборник рассказов «Отправление». Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 6.

шутка Валетова, сам придумал, — там он проверяет соответствие документов внешностям и заявок — документам. Каждое лицо, втиснутое в формат и высушенное голографическим орлом, приобщается к сакральному порядку и остаётся в особой памяти Валетова. Над столом висит пробковая доска с уведомлениями для охраны, там трафаретно выведено «текучка», и ниже грубым почерком начальника смены: «Шмон тоёты 144», «Запчасти Петрозаводск — в управление»; приклеена брошюрка «Тайна Коми Джедая: секреты вселенной, питание, трансфер», и ещё «Вторая машина техдира...», что призвано увеличить расторопность утренней смены.

Алюминиевые триподы турникетов сияют под бледно-голубыми галогенками. К утру, когда Валетов зальёт в себя жжёного «Жокея» и напустит поверху едкий туман «Петра I», выulptенным глазам покажется, что алюминий чуть-чуть горит, плывёт в синем свечении. И это будет красиво, пока не набегут работники.

Валетов опирается на покой турникетов. Вставая, целит ухом на классический концерт из радио, напор сопрано, рикошет кафельных стен. Он бредёт из проходной наружу — к городу. Затягивается. Хребтом чувствует неживую требовательность каждого барьера турникета. Как жёстко они размечают своей осью вращения фронт — и как чутко отзывается в теле Валетова — в органическом теле ЧОП, — заводское пространство ответственности.

Состарившийся и вжившийся в комбинат, местный пёс, Валетов стоит тихо, лапа к лапе, чуя непричастных людей в дальних домах и на заправке. Об этом молчат штиль в промзоне, пустые окна столовой «Бумажник». Чуть щёлкает в барабанных перепонках, и эхо щёлканья напоминает о редких машинах на трассе за пустырьём, но ни одна не катит по Заводской улице в сторону комбината. Важный инженерный состав представлен ночью лишь тремя, — Валетов знает точно, потому что это три невидимых пальца, упирающихся ему в затылок: главный механик Абросимов, обермашинист Вуланкин, начальник по ремонту Шолохов. Валетов может пойти в управление и пробить по базе отмеченные валидаторами их чипы, чтобы удостовериться по входу, например, Абросимова. Валетов даже привычно удивится тому, что *знает точно*. Но это не вызовет в нём резонного вопроса: откуда же он знает, что главмех здесь, если тому положено уходить в день?.. Коллег по охране Валетов ощущает натяжением в жилах предплечья, как бывает, когда процедурная медсестра щупает вену резиновой рукой: это привычно тянет слева, за шлагбаумом транспортного проезда. Там, в будке, дремлет дылда Степан, а пермяк Тёмыч смотрит пустым лицом похабшину в телефоне. С третьей проходной он ощущает пару охранников и ещё овчарку — это щекотка поднимается в усах Валетова, усах чепрачной, как у пса, масти, с пожелтевшей от никотина сединой.

Странная необъяснимая способность чуять порядок на заводе завелась в охраннике с каких-то древних времён, и он просто живёт с ней, отмечая равенство скрытого знания и сбывшегося факта.

Нет вопросов и нет об этом тревог: то, что умеет Валетов, — лишь осколок большого дара. Как если бы оперную приму заставляли петь на утреннике тысячу лет, и она бы забыла другое место, другое прошлое, и платице из тюлевой органзы, с пайетками по талии, стало второй кожей... Как же она так распевается? — думает Валетов, а радио летит через стекло, — не женщина, а погодное явление: и воет, и воет... Ссутулившись, Валетов курит ещё. Ждёт, когда проснётся Тамара. Она всегда в его дежурство встаёт по будильнику в 02:58, чтобы заменить на посту. Ему пора на обход в цех бумажного производства № 2, а № 1 сегодня патрулируют коллеги с проходной № 3.

Валетов кивает ей. Грузная женщина круто сужается от таза к щиколоткам, зевает, шагая словно по невидимой узкой доске. Работала Тамара когда-то на хлебозаводе, ей не привыкать к конвейеру: поток людей здесь заменяет поток булок; и в пару ей ставят мужчин, чтобы доукомплектовать жёсткостью. Валетов снимает с ремня досмотровый металлодетектор, это уже часть тела, от его рукояти — вытертый след на бедре в форме улыбки, как у стрелка Среднего Запада, — ещё не забыть фонарик, рацию, и игрушечного динозаврика своего — в карман. Давным-давно кто-то над ти-рексом поиздевался, но отходчивый Валетов забыл, кто и как это было, потому всегда берёт рептилию с собой. Другие его ящеры — фигурки, вырезки и паззлы и ночник-диплодок, сомкнувший шею с хвостом световым кольцом, — находятся в безопасности жилищной ячейки, где-то внутри хрущёвской геологии.

Отметить в журнале время выхода, и в путь.

Похрустывает снег. Сменяются предупредительные щиты от службы ТБ: «Влюблённая кокетка на производстве — несчастный случай!», «Был коллега — стал калека», в таком духе. На коротком участке тротуара вонь варёной целлюлозы перебивает ветерок свежести со склада древесной щепы. Затем вырастает громада штабеля круглого леса. Из темноты, отразив цеховой периметр света, спилов стволов глядят на Валетова бледными плоскими ликами: без черт, тысячи их навалено, замкнутых тысячью колец. Ему бы пройти ближе, а лучше — взобраться по их крутому склону, представляя с весёлым страхом, как оступается и катится на него одно лихое бревно, второе-третье, вал! — и небо над ним глухое — чёрная крышка мира. Странное желание, он так не хотел раньше.

У столовой «Снежинка» Валетов видит узик-буханку местных электриков. Помнит: в том году приводил их в управление ЧОП, потому что из автомагнитолы торчал диск «Руки вверх», а это накопитель информации — запрещённая техника на заводе, внос-вынос только по согласованной заявке. Валетов виновато жал плечами. Вставили бы диск — никто б не заметил, а так работа есть работа, да и электрикам плевать, отделались объяснительной. Все понимают, что чертежи стратегического оружия из этого завода, выпускающего тарный картон и офисную бумагу, не выкрадешь.

Только вспомнил нарушителей, как померещилось ему сгущение ночи впереди: что-то двинулось за пределом фонарей. Даже не удивился, махнул фонариком — нет. Прошёл за угол цеха — глупости. Некому тут бегать по ночам и нарушать. Он бы знал точно... Вот что касается нарушений порядка, за который Валетов ответственен, то они сходят с рук только фирмачам.

Фирмачи... В этом слове для охранника Валетова кроется флуктуация режима, размыв порядка, который его тело ощущает как жизненное противоречие, даже как — глупо признаться — что-то вроде любви. Свежая угроза смешана с бурлящей радостью, вот что такое фирмачи.

Они появляются редко, но сразу и скопом, если большая модернизация.

Одну из четырёх бумагоделательных машин остановили неделю назад. У Валетова покалывало ладони — так он засекал их чуждость издали. Тяжёлая поступь по асфальту парковки, пивные животы, красные лица — у грузных финнов Valmet; вчера их старший, Пентикайнен, поскользнулся на мокрой плитке из-за промывки напорного ящика и вывихнул лодыжку; но есть уверенный шаг четырёх итальянцев в европейских высокотехнологичных шузах, они кучерявые, стройные, громкие; если толкает дверь проходной седобородый санта-клаус, скептически поглядывающий на всех, и вокруг вьётся-шпрехает по переводческой орбите недавняя студентка, — то это немец из Voith, у него на барской толстой кисти керамические Rado, Валетов такие видел

в журнале, и ещё у него забавный саквояж типа медицинского, из толстой кожи; а пухляш-конструктор, едва не застревающий в турникете, — наверняка чех, он забавно пытается по-нашему балакать, Тамаре вручил конфету Baltys Vodka, а та, как примерная ученица, отнесла алкогольный десерт в управление. Фирмачей видно издалека: по бескозырным альпинистским каскам Petzl (две такие — оклад Валетова), по рюкзакам и чемоданам Samsonite, что катятся бесшумно, кодовые замки и прочнейший пластик; их техника блестит новьём, пахнет евро, а роботы очищены такими капсулами для стирки, каких Валетов не узнает никогда, но запах этот вкупе со всем остальным — это флёр престижности другого мира.

Они могут таскать флэшки, неведомые чертежи, электронные планшеты. И начальник смены ЧОП не возьмёт с фирмачей объяснительную, и уж тем более не оштрафует. В бюро пропусков их ведут без очереди, на досмотр к Валетову — с таким гонором, что Валетов, шаркая в своих недышащих ботинках со стальным подноском, ощущает стену между собой и ими, и неумолимую свою ответственность за стражу на границе, за безупречную сверку заявок, за сопоставление ввозимых и вывозимых единиц: от наборов цинковых рожковых ключей, от сотен ноутбуков с сотней еле читаемых серийных номеров до колумбиков, щупов и датчиков вибродиагностики, за свою подпись в начале дня — и подпись в конце в разлинованном журнале учёта, откуда подсчитываются его табельные часы работы, выводятся сверхурочные и премиальные и всё его существование. Безо всякого пафоса Валетов растворён в порядке работы, он ходит по линиям, по которым должно ходить, и спроси его сейчас, что делал он тридцать лет назад? с кем сидел за партой в «фазанке»? сколько раз прапор за сигами в ночь гонял? в кого втюрился в десятом классе, и бил ли батя за двойки, и какая книжка лежала под настольной лампой? — Валетов мутно задумается, что-то припоминая, и снова, под действием курящихся труб, варочных котлов, лязга из цеха каустизации, неминуемого порядка, он отвлечётся на геометрию проходной или забора, взгляд откалибруется, пройдя по неизменным линиям и поворачивая на вечных углах барьеров, или отвлечётся на скорость едущего транспорта: не превышает ли? — или точное время: не опаздываю ли?..

Работать надо.

Поднявшись на шестую отметку, Валетов оказывается в разгаре монтажных и пуско-наладочных работ.

Он вправе делать замечания по соблюдению режима, записывать имена, фирму нарушителей — например, курящих не в положенном месте; проверять алкотестером, фиксировать работника без СИЗ, и чтоб никакой фотосъёмки на территории. Он ещё знает места, где изредка в ночную смену можно найти уснувших подрядчиков, обычно это пожилые, сухие, как урюк, слесари из Удмуртии или Башкирии, они в полубморочном состоянии, но всё-таки перешучиваясь, делая вид, что дурачатся, скользят спиной по стене цеха, устроившись за несущей колонной, талёвка выпала из рук, но снять с плеч её цепь им уже не по силам, ведь помимо ремонтируемой бумагоделательной машины — БДМ — в цеху работает на всех парах соседняя, а значит, температура 32°, влажность 100%. Валетов помнил, как лет пять назад остановил сильно хромавшего старика, который нелепо пытался ухватить перфоратор безвольной рукой. Валетов решил было, что работяга из БумРемСтроя выпил, но тот на самом деле работал по инерции, не заметив инсульта, и долго ещё упирался, мотая съехавшим лицом и отказываясь идти в травмпункт, ведь «бригадир сгноит».

Однако сейчас будить некого: люди выносливы, деловиты, злее обычного. Завтра к полудню машина должна пуститься, и это обещано руководству.

О. Камов

Как Гагарин

Рассказы

Светлые ночи Леонида Мамина

Мите и Лёше с благодарностью

Сволочь, хам, как оскорбляет: «Вон из моего кабинета, тупица!» Нашёл себе раба на галере. Ничего, сочтутся, скоро он увидит небо в алмазах, ночь близится, расплата на подходе...

Он открыл *это* в себе давным-давно, ему семь лет только исполнилось, наступило лето, семья на дачу переехала, Петька Васильев, друг и сосед напротив, его ждал.

Встретились: привет-привет, отошли в рощицу за забором, ландыши уже отцвели, а земляника первые листья выпускала, в такое время там нечего делать.

Петька старше на год — большая разница в том возрасте, первый ход — его, сразу предложил сравнить письки — примерно одинаковые получились, хоть мерили навстречу друг другу. Петька так тянул свою, что он даже испугался, как бы не оторвалась, — сейчас смешно кажется. После Петька прокричал с чувством несколько плохих слов на хэ, на пэ и ещё, но он не удивился: слышал их много раз во дворе, хотя понимал не все. Их в лифте постоянно закрашивал сантехник Эдуард, но кто-то опять царапал-вырезал на деревянной стенке.

Потом Петька показал ему шарики бицепсов на обеих руках — разве сравнишь с папиными: у того как булки «Городские» по семь копеек. Подтянулся на гладкой берёзовой ветке и начал хвастаться, что жутко сильный стал, в классе трём козлам кровянку пустил из носа, все плакали, его к завучу вызывали, вместе с маман и Сергей Ивановичем, это его отчим.

Маман ужасно ругалась, грозила, что всё будет доложено генералу, это его отец, хотя он тогда ещё полковник был.

Автор, сочиняющий под псевдонимом О. Камов, — специалист в области прикладной и вычислительной физики, окончил МФТИ, работал в одном из московских академических институтов. Рассказы опубликованы в журналах «Знамя», «Урал», «Новый Берег», «Звезда». Постоянный автор «Дружбы народов».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 6.

Сергей Иванович тоже строго осудил как бы, а позже шепнул по-секрету: «Молодец, Петруха, мужчина должен уметь постоять за себя, но лучше ногой по яйцам — круто, больно и никаких вешдоков», — запомнил с тех пор.

Он попробовал на той же ветке подтянуться, не получилось, а Петька говорит: «Давай, ударь меня, Лёка, — хоть в нос, хоть по яйцам, уж я-то не заплачу».

Он не мог, он вообще кулаком никого не бил — так, боролись, иногда замахивались в шутку вроде боксёров или японцев из кино.

Он сказал: «Ты же мой друг, я бы тоже не заплакал». Зря он это сделал.

Потому что Петька неожиданно заявил: «Вот и проверим», — будто забыл, что они друзья. Он думал, что Петька шутит, хотел спросить: «Шутишь, что ли?»

Но не успел, друг засадил ему кулаком прямо по носу, ему показалось, что там что-то хрустнуло, и глаза чуть наружу не выскочили, было очень-очень больно, но не в носу, его он тогда вообще не чувствовал, болело всё вокруг, включая уши. Ему и позже доставалось, но в тот, первый, раз — больнее всего. И ещё когда зубы вырывали, а перед этим укол делали.

Но он не заплакал!

Кровь была как из крана, Петька страшно перепугался, сказал, генерал убьёт нахер, сказал, лучше было бы как Сергей Иванович учил, сразу потащил к ручью — несколько метров вниз, — снял с себя майку, намочил, протянул: приложи к лицу и голову запрокинь. Приложил осторожно: все говорили, что в этот ручей дачники чего только не спускают. Но действительно полегло — вода ледяная, у них много ключей вокруг озера било, и даже в самом озере на дне, там один здоровый парень чуть не утонул, еле спасли. Кровь скоро остановилась, он отдал другу майку, стащил свою, и, пока Петька пробовал её отстирать, попытался рассмотреть своё лицо в быстрых извилистых струйках. Как ни глядел — на месте носа отражалась крупная неровная картошка...

Мама руками всплеснула, даже уронила слезу. Он ей почти не соврал: подтягивались с другом вдвоём на ветке — она и обломилась, тот упал мягко, а ему не повезло: камень на земле лежал. Мама кинулась к холодильнику за льдом, к аптечке за лекарствами, она же сильно его любила, он единственный сын в семье был, мамин. И фамилия такая же. Хотя в семье ещё и дочь имелась, старшая, Ксения, тоже мамина Мамина, высокомерная ученица пятого Б класса. Но не о ней сейчас речь.

Мама сразу ему своих потрясающих оладьев с яблоками напекла, да не в коня корм: он рот с трудом раскрывал, — спасибо Петьке. В конце тот сказал с уважением: «Ну ты даёшь, Лёлик, я же тебя со всего размаху, ты, наверное, тупой к боли — такие люди есть, но их совсем немного, я слышал, из них наёмных убийц делают, думаю, Сергей Иванович такой, только держи язык за зубами — здоровее будешь, он сам так говорит».

Папа вечером с работы вернулся, мама ему сразу всё выложила, он после ужина зашёл без стука к сыну в комнату, поглядел, сказал: «Камень, да», — хмыкнул, закрыл за собой дверь и пошёл в кабинет продолжать свою ответственную работу. Сейчас таких трудоголиками называют, а тогда мама просто говорила «сумасшедший Мамин» — он ведь тоже Мамин был.

А все они вместе — дети и внуки контр-адмирала Мамина, которого под самый конец жизни уговорили построить в этом замечательном подмосковном посёлке на земле от Штаба дачу прямо напротив летней резиденции своего друга контр-адмирала Васильева, — внук Леонид, к сожалению, не застал ни того ни другого.

Но самое главное — он не заплакал!

Через неделю нос уже стал как настоящий, только жёлтого цвета, но совсем не болел, и нюхал хорошо, и он с удовольствием ел мамины оладьи, а ещё неделю спустя даже врач-ухогорлонос с блестящим зеркалом на лбу не заметил бы никакой разницы в облике воспитанника московского детского сада номер восемьсот восемнадцать Леонида Алексеевича Мамина.

Но за эти две недели в природе появился совсем другой Лёка-Лёлик-Леонид, а старый — исчез, будто растворился в целительном, прозрачном подмосковном воздухе. Более того, это превращение произошло ровно две недели назад, в тот же злополучный день, точнее, ночь.

Опять ошибка, та ночь абсолютно не была злополучной, она была...

Трудно описать, что случилось, а если сказать, что день по сравнению с ней меркнет, — ему никто не поверит. Но ведь это чистая правда.

Ему приснился, нет, не точно...

Он *видел* тот самый день, он его *слышал* — вплоть до мелких призывных жужжаний кровожадных июньских комаров, до хрустнувшей под его сандаликом веточки, он этот день... *чувствовал* всеми своими рецепторами, о существовании которых тогда и не подозревал. В общем, это имело такое же отношение ко сну, как реальный человек — к человекообразному орангутану: вроде бы и родственники, но очень дальние. Он сейчас это понимает.

А тогда...

Они пришли с Петькой в ту самую рощицу и мерялись достоинствами, и Петька хвастался своими мускулами-бицепсами, и предложил подтянуться.

Он, хоть и не выполнял никогда этого упражнения, решил попробовать.

И у него — внимание! — получилось легко! А потом ещё три раза!

Друг жутко удивился и говорит: «Давай, ударь меня, Лёка, — хоть в нос, хоть по яйцам, уж я-то не заплачу».

А он спрашивает ехидно: «Честное пионерское?» — так Ксюха всегда интересовалась у болтливых друзей.

А Петька: «Клянусь Розой Люксембург и Кларой Це...»

Петька ещё не закончил хитрую фамилию Клары, а он уже вмазал ему со всей силы, даже бутса с ноги слетела. А может, сандалик, не уверен.

Думаете, в нос — по-японски?

Ошибаетесь, он его круто, куда убийца Сергей Иванович научил. С разбегу и без вещдоков.

Что тут случилось — не передать: его друг визжал с хрипом, как поросёнок, зарезанный в сарае, бедное животное, он слышал сам, ещё год назад, на всю жизнь запомнил.

Петька пускал реки слёз и кровавые сопли из носа — видно, пробило его до верха, кричал: «Генерал тебя из танка расстреляет нахер!»

А он вдруг как заорёт: «Получил, сука?» — даже сам испугался, это плохое слово белело у них в лифте почти месяц, прежде чем Эдуард замазал, вместе с «Верка».

Всё размылось, он увидел близко мамино лицо, мама положила руку ему на лоб: «Совсем мокрый, ты так страшно кричал, Лёничка, дай я тебя переодену, солнышко».

А он: «Мама, мне намного лучше», — и опять ушёл в другую, прекрасную... жизнь.

Он правду сказал тогда.

Дальше уже мелочи пошли, Петька прощения у него попросил за провокацию, а он его майку прополоскал в ручье, хоть крови было совсем мало.

Они сцепились мизинцами на прощанье: «Миришь-миришь, больше не дерись», — и разошлись по домам в ожидании завтрашней велосипедной прогулки по любимым местам...

Он этим ещё неделю наслаждался, каждую волшебную ночь, хотя уже давно простил друга. С небольшими изменениями: ну там всего два раза подтянулся, или левой ногой ударил — она у него тоже сильная, он ей обычно толкается, когда прыгает, и другие мелочи. Но всегда орал: «Получил, сука?» — правда, чуть потише, чтобы маму не будить. И ни разу со всего размаху друга в нос не ударил, страшновато было: такая боль, кровь, проблемы с едой... Хотя тот настоящую подлость сделал, всё-таки жалко было с ним так расправляться.

Потом *это* вообще прекратилось, и он всю ночь видел стёртую серую картинку без звука — как в телевизоре, из которого антенну вытащили.

Или ложился, закрывал глаза, а открывал их уже утром другого дня.

Не так давно ему в больнице исследование делали, эндоскопия называется, уже возраст подошёл, и наследственность нехорошая — что у деда-адмирала, что у папы Мамина. Врач-анестезиолог сказал: «Ввожу пропофол, раз-два», — и он глаза уже в палате открыл — как в своём обычном сне.

С другом Петькой странные вещи творились, с каждым годом он сильнее становился, это нестрашно. Но одновременно появилась у него какая-то жестокость, злость немотивированная: ударить мог кого угодно, сильно и ни за что. И хотя друга Лёку он после того случая ни разу пальцем не тронул, они расходились всё дальше и дальше.

Учился Петька плохо, с седьмого класса закурил по-чёрному, пить начал, заматерел, пьяный, попытался подраться с Сергей Ивановичем, но тот его так отделал, что Петька год здоровье восстанавливал, да ещё генерал пригрозил на атомную подлодку, где дед Васильев капитанствовал, служить отправить.

Школу друг не закончил, подался в таксисты: Сергей Иванович в знак примирения обучал его рулить на дедовой «Волге».

В один несчастный день он подрался с пьяным пассажиром и забил того насмерть монтировкой, которую возил под сиденьем.

Был суд, Петьке светило пятнадцать, но Сергей Иванович нажал на свои рычаги, и пасынок получил три года за превышение пределов необходимой обороны — пассажир оказался уголовником-рецидивистом.

Но отсидеть весь срок не успел: тёмной ночью кореша того блатного перерезали Петьке сонную артерию.

Лагерное начальство без шума оформило ЧП как самоубийство под коксом, Сергей Иванович поклялся отправить Хозяина вместе с Кумом на нары в особую зону — да кому это помочь могло?

А Лёка-Лёлик-Леонид Алексеевич скромно рос, никогда ни к кому не приставал и никому не угрожал: не было нужды, он уже знал секрет замечательного настроения и полной сатисфакции в тихие ночные часы, ни один из его обидчиков не остался безнаказанным, поверьте. Он сам, совершенно случайно, изобрёл уникальный способ надёжней брони защитить себя от неожиданностей жестокой жизни.

Когда приходило время, он говорил, забирая зачётку, своему обидчику-доценту на экзамене по матлингвистике в Университете:

«Удовлетворительно, да вы сами эту задачу ни за что бы не решили, наверняка подглядели ответ, тут два часа копать надо, посмотрите на себя, вас же неподдатого на семинарах никто не видел, всегда оборваны, нестрижены-небриты, воняете, как бомж. И не надо извиняться, или правда глаза заколола?» — и никто ему не помешал.

Когда приходило время, он говорил девушке-красотке, отвергнувшей его ухаживания:

«И чем же я тебе так не угодил? Не кинул сразу в койку вместо дешёвых разговоров о фотографах-импрессионистах? Вот этого не надо, давала А., давала Б. и ещё одному, незнакомому, он на той вечеринке проговорился. Нет, не стыдно, сам даю бесплатный совет: когда кто-нибудь ещё подкатит, — сразу ногой по яйцам: круто, больно и никаких вещдоков, окей?»

А вот этого не надо, на тебе свет клином не сошёлся, чао-какао. Ты что делаешь? Кто позволил? Орально? Ора? Оооо!» — тоже без проблем.

И для этого борова скоро настанет час Икс, забьётся животное в сумасшедшем визге, затрещит его палёная шерсть, он же сам, тупица и жополиз, каждый день поручает ему спецзадания-заказуху, а потом компенсирует подлость материально.

Из-за этого с Леонидом Маминым никто не здоровается — избегают, словно прокажённого. Всё трудней душу сохранять в изоляции, выходит, вся его жизнь — сплошная ошибка, скоро его самого спросят: «Получил, сука?»

Как грудь горит, кто ему поможет, ну, помогите же! Мама! Где ты?

Услышала, положила руку ему на лоб: «Совсем мокрый, ты так страшно кричал, Лёночка, дай я тебя переодену, солнышко».

Сказал только: «Мама, мне намного лучше», — и ушёл в другую, прекрасную...

Как Гагарин

(Приключения Московской Домохозяйки)

Последний год вообще трудный был, а ближе к осени — накатило... Катерина Андреевна попыталась вспомнить, когда же всё началось — и не смогла. Ну да, постепенно, как у Афанасия Афанасьевича: «Ряд волшебных изменений милого лица...» — понимал человек женскую суть, вон он, на полке отдыхает рядом с Сергеем Александровичем — и этот не дилетант в делах сердечных.

Иван Петрович поэзию очень любил, часто вслух ей зачитывал, а после интересовался: «Как вам, Катерина Андреевна? Гениально?»

«Гениально», — соглашалась она. Её давно уже не напрягало обращение супруга по имени-отчеству — на следующий день, как расписались, он с едва уловимой строгостью сказал после обеда: «Иван Петрович Сидоров, Катерина Андреевна Попова — какая затрапеза, давайте-ка, милая жёнушка, чуть приподнимем нашу жизнь: сейчас все, кого ни возьми, собственные благородные корни раскапывают после большого перерыва. А мы пойдём другим путём».

С тех пор — только на вы. С редкими исключениями.

Так всегда, лишь стоит что-то вспомнить, — сразу новое цепляется.

Ещё один постоянный «прицеп»: как из Липецка уютного в чопорную холодную Москву приехала овладевать историко-архивными знаниями, и как ею самую исподволь овладели некоторые самоуверенные, безо всяких принципов и обязательств — ни одного достойного не встретила, долго, а ведь вовсе не дурнушка была, наоборот, — провинциальная девочка с персиками...

И как потом хорошо организованный Ванечка, ой, Иван Петрович, пригласил её на танго в подмосковном ведомственном доме отдыха, уверенно положил свою крепкую... одесную?, ну, правую, ладонь на её крутое, тоскующее по надёжным отношениям бедро, и как сразу поняла: оно!

Точнее, какое-то понимание пришло позже, хотя с самого начала было ясно: «хитрый», без вывески, дом отдыха. Кто там мог отдыхать? — ракетчики, или атомщики, или даже товарищичекисты — не всё ли равно, в те годы деньги зарабатывались с энтузиазмом и мгновенно тратились назло инфляции, хотя бы обыкновенные люди на лыжах кататься — храни их Бог, оплата вперёд.

Короче: познакомились-подружились.

Спроси её тогда, как выглядит её избранник, — никогда бы не ответила, она и сейчас затрудняется описать его: роста не низкого, но и не гигант-баскетболист, глаза с утра вроде бы коричневые, а к вечеру серые, нос с первого взгляда с небольшой горбинкой, а со второго — безупречно прямой... в общем, никаких особенностей ни в лице, ни в фигуре. Такого встретишь случайно на улице — и тут же забудешь.

Но она не забыла. И не ошиблась.

Иван Петрович уже не юноша был, имел даже опыт экспресс-брака, без детей, ничего не скрывал, особенно своего желания построить крепкую большую семью.

И она ведь того же хотела, только ума хватило не распространяться о мечтах, подумает ещё: засиделась в девках.

Иван Петрович привык всё быстро делать, сказал сразу после лыжного марш-броска на двадцать киломеров: «Когда поженимся, тебе с работы придётся уйти, не дело — дышать твоей архивной пылью, будешь наших красивых деток воспитывать, мне новую квартиру на Соколе обещают, потом всей семьёй на лыжах двадцаточку сделаем». Конечно, она промолчала, а загоревшегося яркого румянца не было заметно: в тот момент они оба были красные, как раки-продвинутые-к-столу.

С детьми, правда, не вышло.

Хоть у неё всё было в порядке для продолжения рода Сидоровых.

И у Ивана Петровича семени — немерено, честно говоря, — потоп, никогда не ожидала и в самый первый раз поразила.

Размером и твёрдостью его прибор напоминал мощный насос от их всесезонных велосипедов: спущенные шины, мячи футбольные и мячи волейбольные легко наполнялись за несколько качков.

Надо признать, Иван Петрович был в очень хорошей физической форме, ну и она старалась соответствовать.

Только на их беду оказалось его семя слабым, не взошло.

Он к врачам обратился, до главных специалистов дошёл, те ему объяснили, что, по-видимому, он утратил детородную функцию из-за давней технической аварии в своей лаборатории.

Об этом он молчал, как рыба, само слово «лаборатория» прозвучало на её памяти один лишь раз, обычно — «работа» да «работа».

Единственное, что она узнала: Иван Петрович занимается серьёзными биологическими исследованиями, совершенно-совершенно-секретными, даже его кандидатская диссертация была абсолютно закрытая.

Придётся и ей повременить с подробностями.

Но не вечно, ещё три года, пять от силы — пока не появится чудодейственное лекарство от рака. Или от Альцгеймера. Или от чего-то ещё в том же роде, совершенно неожиданно.

Не исключено, что тогда и Нобель будет приготовлен для её супруга, как для гонимого до переезда поэта Иосифа Александровича, и сам шведский Король, в Стокгольме, при огромном стечении народов торжественно повесит Иван Петровичу тяжёлую медаль на грудь.

Вот тогда они обо всём поговорят.

Иван Петрович работал увлечённо, с перерывами на редкие командировки неизвестно куда, и по-прежнему пытался лечиться, правда, без особого успеха.

Может, какому-нибудь перекатиполе-романтику вся история её знакомства и замужества покажется такой же затрапезой, как имена-фамилии супругов — а где же чувства, где любовь? Ей этот антураж — до светодиодной лампы, как Иван Петрович современно выражался, реальная жизнь — не сладкая киносказка, песни без слов тоже прекрасно звучат.

А ещё она в их союзе, прямо как героиня гениального господина Фета, приобрела устойчивый, яркий, словно праздничный салют над гостиницей «Украина» или на военизированной Хорошёвке, незабываемый оргазм, чего искренне и желает всем идеалистам и их братьям-сёстрам-онанистам-рукоблудным.

Со временем боль несбывшегося притупилась, Катерина Андреевна почти смирилась с отсутствием в их замечательной трёхкомнатной квартире с видом на небольшой парк радостных детских криков, да хоть плача безутешного.

В просторной казённой квартире много чего доставало — она, например, не нашла там ни одной официальной или личной бумажки: ну, скажем, счетов за коммунальные услуги, за телефон-телевизор, за Wi-fi, наконец. Ничего.

Даже у неё, недавно прописанной москвички, имелся маленький старенький чемоданчик, с которым она в столицу приехала, заполненный почти до отказа всякой бумажно-почтовой ерундой, фотками выцветшими, студработами, модными когда-то выкройками...

Плюс диплом её красный, гордость семьи, знакомьтесь на здоровье. Между дипломными корочками — цветная фотография Героя Нашего Времени, первого в мире космонавта, трагически погибшего ровно в день её рождения.

Обновления status quo случались очень редко и запоминались надолго. Например, в один прекрасный день, в отсутствие Ивана Петровича, бригада грузчиков внесла в их спальню, надрываясь и матерясь вполголоса, бронированный сейф с иероглифами на задней стенке.

Она тогда не выдержала, поинтересовалась у мужа перед ночными процедурами: «Что это вы, Иван Петрович, собираетесь в железном монстре хранить — уж не мою ли невинность?»

Дошло.

Днём позже та же команда осторожно и без единого слова передвинула артефакт в его кабинет и бесшумно исчезла.

А он дежурно предупредил: «Катерина Андреевна, дорогая, пожалуйста не обижайтесь, мой письменный стол и сейф всегда должны быть закрыты, это требование режима, прошу вас отнестись с пониманием и не обсуждать ни с кем».

Но всё-таки прокололся учёный муж по режимной части: во время её еженедельной тщательной уборки жилища, в кабинете, в далёком закутке за шкафом к щётке пылесоса прилипла большая цветная фотография.

На ней незнакомый, серьёзный и мордатый, как бульдог, мужчина в штатском прикреплял к мундиру какого-то невзрачного военного золотую геройскую звёздочку, точно как у Юрия Алексеевича, она никогда не спутает.

Пригляделась повнимательней — батюшки святы, как говорила её бабушка, — Иван Петрович! И на каждом погоне у него по три большие звёздочки, как у полковника Гагарина!

Тут она смолчать не смогла, а если точнее, положила без слов находку на стол перед драгоценным супругом.

Он лишь заметил: «Ну наконец-то, давно её ищу, спасибо, в сейфе ей самое место».

— И всё?

— Думаю, да.

— Ну вы даёте, товарищ полковник.

— Вы часто видели меня в форме, Катерина Андреевна?

— В первый раз.

— Вот и я её всего три раза надевал. Нет, четыре. Она у меня на работе хранится.

— В сейфе?

— Ценю ваше чувство юмора.

— Яволь, герр оберст, — ответила Катерина Андреевна, — зиг хайль!

Следующий прицеп пошёл: профессионально отмечали на новой квартире его хэппи бёрсдэй в первый раз. Уж она расстаралась, полных два дня готовилась, пекла-жарила-куховарила... Да по рынкам, по магазинам... Да полы — воском, в люстре хрустальной каждую подвесочку протереть... Упарилась.

А потом красоту навести, все эти штукатурно-малярные, и ещё чтоб кудри вились, как у людей...

Ровно в семь — звонок в дверь. Отворили.

На лестничной площадке — пять крепких мужиков с неопределёнными, как у Иван Петровича, лицами протягивают ей кто пакет с иностранными словами на боках, кто букет цветов, поздравляют непонятно с чем, полный Вавилон...

Наконец, разобрались, что кому, зашли внутрь.

Она и спроси: «А где же ваши жёны?»

А самый старый, седой, Геннадий Иванович, позабавился классическим: «Наши жёны — пушки заряжены» — под общий хохот.

— Может, мне тогда пойти воздухом подышать, пока вы здесь пить-гулять будете?

— Шутит, не слушайте её, — со смешком, будто проблеял, Иван Петрович.

— Норовистая у тебя жена, Ваня, — пробасил Геннадий Иванович, — с ней не соскучишься.

— Ладно, гости дорогие, прошу к столу, — сказала она примирительно. — А с Иваном Петровичем мы после дошутим...

Так и прометалась весь вечер от обеденного стола к кухонному и обратно.

К концу торжества, перед тем, как сладкое подавать, услышала на кухне пронзительный голос из столовой:

— Минуточку внимания! Давайте ещё раз поднимем бокалы за творческий гений Ивана Петровича!

Она тихонько прикрыла духовку с поспевающими пирожками-ватрушками, неужели победа? Которую она с нетерпением ждёт?

Оратор продолжил:

— Всё расписал как по нотам, будто сам в Стокгольме с нами был. Объект появился как всегда, ровно в семь ноль ноль, середина дистанции. Платный туалет-автомат, чистота хирургическая, он там отливает по-быстрому, разворачивается и домой бежит. У гада устойчивая привычка, не желает ни капли в штанах оставить, промокает пенис бумажкой, аристократ.

— Костя, отдохни маленько, — вмешался Геннадий Иванович.

— Ещё только два слова, все ведь в курсе, посторонних нет, — продолжил выпивший оратор. — Но в тот раз бумажка от Ивана Петровича была. На следующее утро спортсмена прямо на тропе нашли без признаков жизни — инфаркт, перетренировался. По заслугам получил, сука, моя бы воля, я бы его этими голыми...

— Константин, ты чего несёшь? Уху ел? — перебил его возмущённый бас.

— Виноват, товарищ ге...

— Гена, просто Гена, сказано было, не зли меня сегодня, пожалеешь.

— Всё в порядке, она сейчас пирожки свои фирменные вынимает из духовки, — успокоил всех Иван Петрович...

— С пылу с жару, от всей души! — она, чуть задыхаясь, поставила блюдо на стол.

— А сейчас — за хозяйку, — скомандовал просто Гена. — Пьём стоя и до дна. Ура!

Как только дверь за гостями затворилась, Иван Петрович без слов изобразил букву Ф, приложив указательный палец к губам, а потом пожаловался, что голова болит — мол, перепил слегка, и предложил выйти освежиться в парк под окнами.

Катерина Андреевна намёк поняла и присоединилась к мужу.

«Что происходит?» — кричали её глаза.

— На всякий случай, — прошептал он, — не уверен, может, и не слушают, но пока не смотрят — точно. Сверхподозрительность — кратчайший путь к сумасшествию, им руки обломают за самоуправство, в случае чего.

— Кому «им»?

— Всем чересчур любопытным и инициативным.

— Значит, и мне?

— Вам как раз нет, вас проверяли, начиная с последнего липецкого года, и не нашли ничего подозрительного, думаете, если бы они сомневались, — допустили бы вас до меня? Послушай, Катя дорогая, моя инициатива — держать тебя подальше от всего такого ради твоего же душевного спокойствия: меньше знаешь — крепче спишь. Хотя какое тут спокойствие. Дети. И вообще... Похоже, я ошибся, прости. Мы не бандиты с большой дороги, мы — люди военные, действуем строго по приказу и в соответствии с законом. Запомни: война — как дыхание. Пока Земля вертится — война не кончится, бывают только открытые и тайные формы. Моя война — всегда тайная, я в молодости и не задумывался, что так случится, хотел создавать новые лекарства, помогать людям... Но пришлось себя пересилить, часто исцеление невозможно без боли и страданий. *Этом* предал наших людей по всему миру: мужчин, женщин, опытных офицеров, чьих-то отцов, матерей... Многие сейчас в тюрьмах, двое покончили с собой... Он же присягу давал! Можно ему такое простить?

— Военные — люди благородные, Ваня. Как Гагарин. Он, может, и не надеялся, что выживет в полёте, но сел в свою ракету и всем рукой помахал на память. Воины испокон веков дрались лицом к лицу с оружием в руках. А ты — полковник и герой, как Юрий Алексеевич, — не воин, а палач. Так получается. Да ещё тайный. Как я могу признаться кому-нибудь, что мой муж людей убивает в туалетах? У меня голова сейчас лопнет, такой стыд. Я твою профессию никогда не полюблю, убийство живого человека мне отвратительно, даже если оно по постановлению самого высокого суда, даже если оно ускорит создание чудодейственного лекарства, о котором ты мне врал увлекательно, как профессор Капица Сергей Петрович. Как ты мог? Эсэсовские врачи в лагерях смерти убивали несчастных заключённых, пытались разгадать тайны болезней и получить новые лекарства, если повезёт... Выходит, и ты со своей бумажкой для пениса в том же направлении двигался, вклад в кардиологию готовил. А потом газ без запаха изобретёшь, новый тип наркоза, тайно опробуешь его на участниках городской демонстрации... И новая медаль на грудь? Или Премию шведский Король вручит в стокгольмском туалете? Что же нам делать теперь... погоди, Иванов-Петров-Сидоров — это ведь тоже часть конспирации. А на самом деле ты... Ну, колись уж до конца, подлец!

— Вы угадали, Катерина Андреевна, вот вам ключи — от письменного стола и сейфа, ознакомьтесь, если не страшно, с моей тайной жизнью. Только будьте бдительны, умоляю. И помните: я люблю вас с нашего первого танго.

Ну что тут скажешь, не особенная новость, она ощутила то же самое с той же минуты.

Ключи ей, конечно, ни к чему, вернула их сразу, в его хитрых формулах ей не разобраться никогда, а всего остального она знать не хотела принципиально, всё в прошлом, всё чужое.

— Ванечка, тебе надо уходить оттуда, и как можно быстрее.

— Не получится, слишком много знаю, только ногами вперёд. И не уверен, что тебя пожалеют. Думаю об этом, не торопи.

Зима в тот год выдалась ранняя, снежная. Каждую субботу и следующее за ней воскресенье они с Иваном Петровичем нарезали в подмосковном снегу большие круги-двадцаточки.

Появились идеи.

Может, узнают, что значит постоять на краю.

Как Юрий Алексеевич в тысяча девятьсот шестьдесят первом.

И знаете что? Они по-прежнему на вы, он для неё по-прежнему Иван Петрович, и никаких других имён она слышать и произносить не желает, пусть оригиналы хранятся там, где положено, сколько возможно.

Замечательное имя-отчество.

Она, например, сразу вспоминает соотечественника, знаменитого нейрофизиолога Павлова, которому в начале прошлого века сам шведский Король, в Стокгольме при огромном стечении народов торжественно повесил тяжёлую нобелевскую медаль на грудь.

Русский народ богат талантами, Катерина Андреевна постоянно повторяет это супругу и добавляет:

— Ещё не всё потеряно, Иван Петрович, не всё потеряно!

Родион Мариничев

Пока не иссяк хлорофилл

* * *

Когда поезд подходит к Москве, —
снег.
Улица, город, страна...
проступает в холодном окне
путевая стена.

С нами Москва, а зачем Москва?
Почему, из чего и в чём?
Далеко и близко, мертва и жива,
холодно — горячо.

Опершись о кулак и прикрыв глаза,
с вагонной углядишь высоты,
как сто восемьдесят сантиметров назад
вышел из тёплой воды.

Мама,
навсегда оглушён тишиной,
слышу как наяву —
за твоим большим утеплённым окном
вырастал, поднимался звук:

барабан, колокольчик или гобой,
медленно тающий свет,
где за белыми шапками подоконников,
карандашами столбов,
огоньки увозя с собой,
шли поезда в Москву,
и снежинки летели вслед.

Мариничев Родион Сергеевич — поэт, прозаик, журналист. Родился в 1984 году в г.Саранске. Детство и юность провёл в Санкт-Петербурге, окончил факультет журналистики СПбГУ. В настоящее время — сотрудник ТАСС. Финалист литературных премий «Лицей» (2019) и «Большая книга» (2023). Живёт в Москве.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

* * *

Между Чуком и Геком
взрослым идёшь человеком,
шестилетнего сына держа за руку, —
стал и сильнее, и смелей —
по неизбывному кругу:
Звёзды. Стена. Мавзолей.

Камни — они словно горы,
словно земная опора
твоему неспешному шагу
и маленьким детским шажкам.
Оторвавшись от стаи,
чей-то шарик цветной всплывает
в рваное серое небо
к светлым и тёмным мазкам.

От калитки детского сада,
из-под тихого снегопада,
к наугольным стрельчатым башням,
к молчаливой воде у моста...
Ярче, красней и краше
рубиновая звезда.

Старый большой телевизор,
шелестящий свёрток под ёлкой...
Укрытые снегом ели
в утреннем свете синей.
Упакованы в звуки оркестра
Твой большак, твоё лобное место,
утра твоего мавзолей.

* * *

Танк в Телеграме
приближается к бывшему дому —
то к одному, то к другому,
но неизменно бывшему,
лишённому крыши,
окон,
балконов,
птичьей кормушки за форточкой,
старой ковровой дорожки
на входе в подъезд...

Танк под остовом дерева,
во дворе,
на усеянном кирпичом бульваре.
Танк в Бахмуте-Артёмовске
и Соledаре.

Вид через триплекс,
будто сквозь лобовое:
едешь, едешь по городу,
и тут — такое!
Солнечный луч в холодном осколке стекла,
чудом не ставшем пылью,
смешанной с бетоном и солью...
В детской какой-то песенке:
«Будет даль светла!»

Мир снова перевернется,
сбросит железный панцирь,
схлынет цунами,
стихнет землетрясение.
И я тыкаю «нравится»,
обуздать не пытаюсь пальцы,
не в силах своей стране
желать поражения.

* * *

Подожди,
пока не увидишь тело
в вечерней реке,
плывущее мимо, мимо
и ещё раз мимо.
Силуэт твоего врага
темнеет невдалеке.

Неотступно,
непоправимо
хрупкие стебли травы
пронизывают тротуар.
Перевязочная. Солнце в зените.
Перебивая друг друга,
вступают Амон Ра,
повстанец
и мирный житель.

Земной пилигрим,
обитатель своей страны,
взмывал над рассветом,
бежал,
полз на сбитых коленках,
остановившись
в двух саженях от той войны,
от того простенка.

Небо ровное-ровное,
и теплынь стоит.
Покрытые тонкой пылью,
нагреваются половицы.
Дети мои,
гулкие голоса мои.
Воробьи, синицы...

* * *

Умереть в ноябре,
где стухившийся воздух толкает в сумерки день,
где свет от машинных фар
вспыхивает, скользит,
подсвечивая вчерашний ледок на дорожной воде,
оттаивающий бензин.

Окна выходят в дождь.
Минуя фрамугу, балкон,
голубым фонарём горя,
жизнь разворачивается, расправляется,
словно бабочка махаон, —
от света до ноября.

От рокота кольцевой
до шёпота подорожника и лебеды
волны звуковой длина.
В молчании горизонта,
в плотности дождевой воды —
музыка, тишина.

Группа крови на рукаве,
окна выходят в сад...
Эта скрипучая белая дверь,
этот шиповник и этот свет
о четырёх концах.

* * *

Пока не иссяк хлорофилл,
поживём.
Мир зернист и продолговат,
как разрез человеческих глаз,
как быстрая капля воды.

Провода над шоссе.

Поезд за бурым полем
тянет цистерн крепкие животы.

Поживём! В этом слове —
твоя и моя теплота,
наши кончики пальцев,
мокрые от дождя.
тонкость сырых травинки.

На тропе —
следы от резвых ботинок,
высохшая полынь, повилика.

Детский испуг
во мне совершает круговорот.
Неотступная прибывает вода,
заполняя прожилки и провода,
полевой разнося кислород.

Андрей Ломовцев

Баба Зина

Рассказ

Поезд громыхнул за густыми ёлками на повороте и, моргнув красным фонарём на прощанье, исчез. Павел оказался единственным, кто сошёл на Самаевке. Он зябко повёл плечами, поднял воротник длинного, до колен пальто, холодно, из прохудившегося неба сыпал не переставая снег. Рослый старик с густыми усами, вероятно, дежурный по станции, в тулупе, подпоясанном солдатским ремнём, в жёстких валенках на калошах, посопел и принялся счищать снег с невысокого, вполкирпича, перрона.

Из колхоза обещали транспорт, Павел взглянул на модные «Сейко» — шесть утра. И как быть, — встречающий явно запаздывал, либо — о чём страшно подумать — забыл. Павел поморщился, снег бил в лицо, до нужного села километров десять, не одолеть пешком по сугробу, автобус не ходит, он про то знал, как вариант — попутку дожидаться, вот только холодно и вокзал, как назло, закрыт.

Дежурный с лопатой прокашлялся.

— Что, мил человек, не приехали? Тебе куда надобно? Телеграмму с уведомлением слал? — хмуро бросал он вопросы вместе со снегом и на прибывшего не смотрел.

Павел оживился.

— Телеграмму? Да лично председателю позвонил, тот клялся и обещал, и вот вам, пожалуйста, никого. В Телешовку мне, батя, ты вот скажи, может, застрял где водитель?

В голосе Павла рождались нотки отчаяния, и дежурному это явно нравилось. Старик опёрся на лопату и радостно наблюдал за долговязым пассажиром, застывшим в недоумении.

— Проспал, небось, ирод, к обеду приедут. Такое тут кажий день, мил человек, зима.

Андрей Ломовцев — родился в 1969 году в Подмосковье, в стране, которой нет. В период «крушения империи» построил баркас и отчалил в море бизнеса. Учился на психолога. Ночами писал сказки, на лекциях — стихи. Уехал в Индию — искать путь просветления в йоге. Искал долго, с фонариком в позе лотоса. Нашёл политическую карту мира и биржевой справочник. На всякий случай — научился читать справочник и торговать золотом. Объехал полмира и нащупал путь в литературу. Печатался в журналах «Волга», «Урал» и других. Живёт в Мытищах Московской области.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 11.

Павел догадался, что его поддевают, но чувствовал, как леденеют ноги в ботиночках на рыбьем меху. Уже жалел, что попёрся в несусветную даль в такой холод, потерпел бы до майских, так нет же, буквально выклянчил редакционное задание, вот теперь не жалуйся.

А вообще, на авантюру подбил его Женька. Человек, жизнь которого удалась, на кого Павел втайне равнялся и кому немного (да, пожалуй, и прилично, но по-доброму — всё-таки друг) завидовал. Евгений Стамескин служил в престижном издании, писал изящно и хлёстко, статьи пользовались неизменным успехом, и Женька был на виду: шатен с коротким пробором, холост, да ещё выплатил взнос за кооператив в Тропарёво-Никулино, занял очередь за недоступными «Жигулями».

А вот Павел, по утверждению Женьки, — сдался, гнил в ведомственной газетёнке тестя без права на место под солнцем.

Они с Женькой встречались в пивбаре каждую пятницу, придерживались традиции со студенческих лет. Однажды Павел припёрся совершенно разбитый, тому предшествовал очередной домашний скандал, и, запивая сумбурный день разбавленным жигулёвским, он поделился с товарищем горем. Вырвалось через хмель вместе с икотой.

Женька пролил пиво от удивления, затёр неловко брючину белой салфеткой.

— Ну, друже, так не бывает, чтобы без повода. Как это выбросила в окно? Роман, который писал два года? Взяла и выкинула? Да ладно... Я, кстати, не в курсе про твой роман, чего молчал, молодец, неожиданно.

Женька хлебнул пива и взволнованно облизнул губы.

— Хотя, знаешь, все они, бабы... блин. А на что так взъярилась твоя Карина, вроде любовь у вас, все дела. Дочь, опять же.

— Была любовь, — промычал Павел, краснея. — Остались придирки: почему поздно с работы, то молоко не купил, не забрал Лию из яслей вовремя, ну и прочее там. Одни воспоминания теперь от любви...

Бар гудел голосами, криками, смехом, сновали люди, звенели кружки, в углу матерились, воняло рыбой, пивом, потом десятка людей. Павел закурил, поморщился — «Пегас» откровенно горчил, в голове повисла хмельная тоска, невысказанная проблема грызла червём, и он решил: «Женька же опытный, может, чего подскажет».

— Теперь спим в разных комнатах, почти развод. И, главное, нет ключа к перемирию, и тут ещё...

— Это из-за романа? — перебил Женька. — Да брось, напишешь ещё, и не один, тебе только тридцатник, гора времени впереди.

— Тебе хорошо говорить, небось в «Дружбе» опять ждёшь рассказа.

Помимо очерков о жизни учёных и разных архисложных открытиях, Женька умело писал короткую прозу, к зависти Павла.

— Не без этого, друже, стараюсь, — завёлся хвастливо Женька, ослабляя узел короткого тёмно-синего галстука.

— Уважаю, а мне тесть недавно прямо сказал: не заделаю внука — не видеть мне кресла заводделом. Говорит, фамилию свою пацану дам. Тактакишвили — типа княжеский род и продолжение — дело чести. Такие дела.

— Так у тебя жена — княжна получается? — отмахнулся от вонючего дыма Женька, словно комара отгонял.

— Вроде того. — Павел добил сигарету глубокой затяжкой, сунул окурочек в пепельницу. — Род их действительно древний, тесть как-то хвастался документами, а по коллекции его кинжалов Оружейная палата нервно плачет в сторонке.

Осанкой, манерами и точёными скулами Карина и впрямь походила на царицу Тамару, правда, отлитую в миниатюре. В институте холодный взгляд её золотистых глаз вызывал у однокурсников трепет, пацаны стеснялись заговорить. А вот Павел с его метр восемьдесят и кудряшками выглядел богатырём, она подошла с каким-то дурацким вопросом, и он принял это за знак.

Притянулись, встречались, гуляли, всё как обычно, ну, может, немного больше. Неожиданно выяснилось, что маленькая княжна беременна. Павел подрастерялся, столь резкого поворота не предполагал, да и по времени не выходила беременность. Он знал про отдельную квартиру Карины и слышал про папу и древность рода. Прикинул, сколько будет сам пробиваться по жизни, — ни братьев, ни сестёр, ни родителей, тётка на Урале, в богом забытом городке, откуда сбежал он после десятого класса. И Павел решил, что хватит с него общаги, не он — удача нашла его. Согласился стать и отцом, и мужем. Карина познакомила с родителями, и Павел сразу понял, Ревазу Рустамовичу он не понравится никогда. Тесть напоминал горного духа из грузинских сказок: мохнатые чёрные брови, волосатые руки, кудри, открывающие плато лысины, сверкающий взгляд. Образ дополняли должность при Министерстве и отсутствие такта.

— Тестя твоего помню, неприятный товарищ, — Женька откусил клешню рака и утёрся салфеткой. — Только в чём проблема, забавай пацана, делов-то на рубль. Не пойму, чем ты расстроен.

Открывая Женьке причину, начинать следовало с начала времён, а как расскажешь другу про ненасытную до секса супругу, мало ли что подумает. Засмеёт ещё. Другие о подобных женщинах только мечтают, чтобы как по расписанию — два раза в день, а в выходные, когда дочка оставалась у деда, Карина готова не вставать из постели.

И поначалу Павлу нравилась её обжигающая страсть, через пару лет выдохся, потом роды, и в наплывах лишнего веса смазалась утончённая фигура супруги, а его интерес улетучился, словно спирт на ветру. Павел начал увиливать от мужеских обязанностей и увлёкся писательством. Было сложно: поиск материала про инквизицию и Испанию, страну далёкую и неизвестную, требовал времени, и утро каждой субботы он посвящал библиотеке, листал альбомы европейских музеев и выписывал в тетрадь интересные факты. Раз в месяц ходил в Исторический и Третьяковку, рассматривал одежды людей и убранство домов, делая зарисовки, чтобы не забыть мелочей. На работе вчитывался в «Железного короля» Дрюона, взятого напрокат у Женьки, вздыхал, охал, краснел и судорожно заносил в блокнот повороты сюжета, острые, точно бритва, ходы основных героев. План собственной истории выстраивался со скрипом, но мало-помалу наливались силой характеры персонажей, закручивался пружиной сюжет.

Если бы не домашние хлопоты, Павел закончил бы раньше. Но уборка, продукты и Лия лежали на нём, как земля на спине трёх слонов в представлении древних индусов. Вечером приходила Карина и тащила его в спальню. После декрета она вернулась в отдел Информации при министерстве отца, и Павел шутил (исключительно с Женькой, конечно), что от супруги пахнет керосином и парфюмом выбритых пилотов международных рейсов.

Ближе к ночи, когда домашние успокаивались и засыпали, Павел закрывался на кухне и засиживался допоздна, а войдя в клинч с идеей, порой до рассвета.

Рустам Мавлиханов

Ангел FM

Рассказ

Пробка начиналась от Мухинской больницы. Хотел сказать: «Эх, что же раньше не выехали!» — но вовремя спохватился. Произнёс:

— Ничего, успеем. Солнце ещё высоко!

Сейчас сверну вправо, на Свободный, оттуда выеду на Носовихинское шоссе и — огородами, огородами — выскочу на бетонку. Пару часов сэкономлю. Успеем. А если припозднимся, — погуляем по Нижнему, покочуем по барам на Рождественской, заглянем в гулкие зевы подворотен, посидим у стен кремля — отель неподалёку бронирован. А на могилки уже с утра — традиция. Радуница.

— Солнце? — позвал я, озадачившись молчанием: обратиться «луна моя» не поворачивался язык.

Солнце сидело, задумавшись. Тёплый апрельский ветерок залетал в приоткрытое окно, распрямляя локоны, — они у неё кудрявятся после душа. По-восточному зелёные глаза, к ним — обручальное кольцо с изумрудом. Уверяли, что натуральный, но кто их знает. Кулон с кошачьим глазом — этот-то точно искусственный: два километра китайского оптоволокну, намотанных в переливающийся шарик, — но других не водится в магазинах. Она с ним не расставалась: первый подарок, ещё из тех времён, когда было много нужды и много надежд. Тонкие пальцы покоятся на складках бежевого плаща. Наша песня играет: «По весеннему Арбату ты идёшь», — не помню чья, и познакомились мы не на Арбате, а на Никитском. Он тогда ещё не был в брусчатке, воробьи купались в каменной крошке и пыли — такой же ласковый день обещал кончиться дождём.

— Помнишь?

Солнце отсутствующе улыбнулось и переключило волну радио. Белый шум заполнил салон.

Рустам Мавлиханов родился в 1978 году в городе Салават (Башкирия). Печатался в альманахах и журналах, в т.ч. «Нева», «Зеркало», «Нижний Новгород» и других. Живёт в Салавате. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

* * *

Конечно, я помнила. В то утро поставила печать на практику. В музее искусства народов Азии. Вышла на бульвар — ура, свобода! Почки распускались, терпко тянуло каким-то запахом... берёз? Прошлогодних лип? Ещё подумала: надо было взять зонтик. Ноги сами понесли — не знаю куда. Догадалась: кажется, сейчас сверну на Малую Бронную. Нравится мне эта узкая улочка — уютная. На узких улочках в этом городе тихо. А она вынесет... ну да, на Патриарший, куда же ещё! И тут, как далёкий гром, услышала банальное: «Девушка!»

На принца он не был похож, ключи от белого коня в руках не крутил. Высокий, в меру нелепый... голос глубокий, парфюм — аккуратный, не назойливый. Я не обернулась бы, но — накатило дежавю. А не доверять этому чувству я уже боялась.

К тому же за его напускной весёлостью читалось одиночество — то, которое нужно искать в больших городах.

* * *

Мы тогда прогуляли весь день, до вечера. Ели турбинки, мороженое. У меня уже заканчивался запас анекдотов и прибауток, но как нельзя кстати с неба ливануло. Отдал ей куртку — не отстранилась. Нашли открытый дворик у Арбата, грелись джином с тоником. Хоть у неё в тонике почти не было джина, но разговорилась: прям сияла, когда рассказывала о наших путешественниках в Индокитае, о скульптурах Анкер... Ангор... короче, какого-то города то ли в Тае, то ли в Бирме. Даже скинула туфли, забралась на скамейку. Расслабилась...

* * *

Да, тревога от дежавю отступила: всё хорошо, и вороны тройками не летали. Ноги устали от каблуков, но я держалась. Его голос успокаивал. Говорил глупости, но успокаивал. Правда, один раз удивил. Мы сидели у Спаса на Песках, он показал на Дом Щепочкиной — его колоннада виднелась у сквера. «Вот, посольство несуществующего государства». «Такие бывают?» — не поверила я. Оказалось, сомалийское. Потом начал пересказывать боевик про упавший американский вертолёт. Увлекательно... Осторожно приобнял меня — решился, наконец. Рука была горячей. Захотелось почувствовать её на затылке. Закрывать глаза. Стечь.

Но он коснулся шрама на шее. И меня чуть не охватила паника: как же я забылась, развязала кашне?! Отдёрнулась.

* * *

Тогда я не понял, что это было. Поторопил события? Ляпнул что-то не то? Только потом узнал — увидел эти шрамы от ожогов: слева на шее — Марина никогда не носила короткую стрижку, — вдоль позвоночника, на рёбрах. Они белели, когда она волновалась. Как сейчас.

— Ты хочешь поехать направо, через Новокосино? — спросила. Ладонь еле заметно дрогнула, зрачки расширились.

— Да. Налево уже не повернём. Что-то случилось?

— Ещё нет... Там же развязка — она как крест, над погостом?

Заглянул в навигатор.

— Да. Перовское кладбище отмечено. Ты что-то слышала?

— Да.

— По *своему* радио?

— Да.

— Сказать можешь?

— Пасха мёртвых... — промолвила она после паузы. — Они там молятся... Остановись, пожалуйста.

Я послушался жену — научился доверять за неполные двадцать лет... нет, не ей — её предчувствиям; свернул в переулок, припарковался. Вывел, чуть не насильно, из машины:

— Пойдём, тут пруд есть.

Не ахти какой — лужа лужей, в которой отражается кирпичная многоэтажка. Но хоть какая-то вода — та, что гасит огонь. Отвернувшись, чтобы не увидела пламя, закурил.

Через две сигареты к больнице промчались несколько скорых.

— Всё? — спросил я.

— Да. Можем ехать.

Вернулись, настроил радио. «На четвёртом километре МКАД, на пересечении с Носовихинским шоссе, произошла крупная авария, — бодро говорил голос диктора. — По предварительным данным бензовоз не справился с управлением и упал с путепровода. Имеются пострадавшие».

* * *

Мне тогда стало неловко за свою реакцию. Даже стыдно. Чтобы загладить вину, чмокнула его в щёку. Стало ещё хуже. Разозлилась — на себя, но больше — на свой стыд.

Он проводил до метро — дальше я не разрешила. А ночью поняла, что, кажется, влюбляюсь.

Так и вышло. День за днём, капля за каплей он становился стройнее, надёжнее, умнее. Даже стал отличать Шиву от Вишну и Сунь-цзы от Лао-цзы. И я — Пеле от Марадоны и каре от флеш-рояля. Ездили на пикники, училась играть на гитаре. Через год пела Янку и Бутусова, завалила сессию, ушла на заочку. Я была счастлива. Большинству женщин свойственно жить в тревоге, но тогда — я была свободна. От своих страхов.

Он познакомил меня с друзьями. За острый язык они называли меня язвой. Спрашивали, не Скорпион ли я по гороскопу, отвечала — змея. Шутили: «Кобра или удав на стекловате?» Посчитать годы не пытались. Иначе сообразили бы, что для универа я не вышла возрастом.

Хотя в восемьдесят девятом, в год Змеи, я родилась второй раз.

* * *

Я увлёкся... Да какой там — втюрился! Чтобы соответствовать ей, засел на форумах, откуда меня послали — спасибо, что не в бан, а в библиотеку. Ребята подкинули тему, извернулся, дела пошли в гору — наверное, чтобы прийти к успеху, и правда, нужна женщина за спиной. Конечно, поступи я в МГИМО, был бы богаче... Но встретил бы тогда её? В общем, и так нормально — ветер в кармане не свищет.

На новогодние взял тур — на Пхукет. Пусть, думаю, увидит своих будд, порадует. Уже собрались, упаковали чемоданы, до самолёта три часа, на кухне по радио Земфира тянет «Я и мачо», Марина вышла проверить, всё ли выключено, — и тут с ней случилась истерика. Вернулась в спальню, лица нет:

— Я не поеду. И тебя не пушу.

— Что? Почему?

— Не спрашивай ничего, Олеженька. — В глазах не тревога — ужас. Подбежала, стала торопливо раздевать, отрывая пуговицы: — Прошу, давай останемся дома, хочешь меня, давай займёмся сексом, будем просто лежать, смотреть киношки, как в июле...

— В каком ещё июле? — Взял её за плечи, встряхнул. — Что с тобой, можешь объяснить нормально?

— Ну, в июле, помнишь, мы на «Рок-крылья» не пошли, я тебя в постель уложила. — Заломила руки, губы дрожат. — Пожалуйста... — шепчет.

Принёс воды. Сказал со всей твёрдостью в голосе, чуть не по слогам:

— Всё. Будет. Хорошо. Выпей — и поехали. Опоздаем.

Сверкнула глазами — зло, волчьи, — схватила билеты, порвала. Путёвки с паспортами еле успел вырвать. Тогда кинулась к двери, встала. Смотрит затравленно.

— Хочешь — бей. Но не пушу.

Я опешил. Как ножом саданули в живот.

— Мне? Тебя? Бить?

Психанул. Поехал к пацанам, забухал. Праздники как в тумане: бары, дачи, сауны, девки. Одна из них нашла в кармане рекламу отеля в Тае:

— Ого! Клёвое место!

Игорёк посмотрел:

— А ты везунчик, бро! Туда, что ли, собирался?

— Ну!

— Точно везунчик. Смыло твой отель. Начисто.

— Как — смыло? — не понял я.

— Цунами там было. Новости совсем не смотришь? А, ну да, ты же в штопоре...

* * *

Как Новый год встретишь, так и проведёшь? Не знаю. Купила мандаринов, бродила полночи, раздавала встречным детям. Душила слёзы. Январь был удивительно снежным. Весна — с запахом пыли. Лето — жарким и дождливым. Я поехала автостопом. В сторону «дома». Никогда не знала, где он. Но почему-то казалось, что там, за Уралом.

Всю дорогу хотелось поделиться с ним: «Смотри, Хельг, какие красивые холмы. Какой ветер! Какое небо...» Да, всё могло бы сложиться иначе, если б не эти ужасные... но что уж теперь поделать — я приехала на «Ильменку», достала гитару и стала петь. Там и познакомилась с Женькой. Поляну накрыл ливень — не такой, как девять лет спустя, в четырнадцатом, но всё же. Под соснами прятаться было бесполезно — с них лило ручьями. Согнулась, спасала гитару. И тут услышала из палатки:

— Эй, гирла! Ныряй сюда!

Потом сушили спальники, выжимали вещи. Смеясь, отшивали помощников.

— Женя, — представилась она. — Женя Брр.

— Брр? — переспросила я. — Это ник такой?

— Ага! Тебе разве не брр? Сейчас согреемся! — подмигнула и махнула дредами.

Крикнула на весь бор: — Эй, пипл! Где Манюня ходит?

Нас позвали к костру. Кружка шла по кругу, я подбирала аккорды на слух, Женька подыгрывала на маракасах. К утру в моём блокнотике была куча вписок — от Новосиба до Минска.

Гюльnaz Лежнева

Бабай

Рассказ

I

Сегодня пять лет, как умерла бабуля. Я её плохо помню, с нами она не жила, только приезжала к нам на новый год и мой день рождения. И вот уже пять лет мы покупаем в этот день пирог и поминаем её.

Зябко и неуютно в ноябре ходить по улицам Стерлитамака, даже если идёшь за пирогом, и даже если с папой, и даже если папа работает в уголовном розыске. Наш район заставлен серыми одинаковыми коробками с тысячей окошек, среди этих окон есть и три наших. Они смотрят прямо на красно-серый «Ситимол» и на такой же красно-серый «Мегастрой». Два братца-неразлучника.

– Папа, почему всюду в серый добавляют красный?

Я вспомнила, что другой наш торговый центр – «Арбат» – и вовсе весь красный с головы до пят. Папа высунул лицо из воротника:

– Говорят, башкиры любят красный цвет больше других.

– Кто говорит?

– Те, кто в Башкирии никогда не жил. Те, кто проектирует нам дома и магазины.

Я не помню, сказал ли ещё что-то папа, потому что увидела чудесного котёнка!

– Ксс-ксс-ксс, – я встала около него на коленки и погладила взъерошенную шерсть.

Он так мило урчал и трогал меня лапками, что я с трудом понимала, чего хочет от меня папа:

– А ну? встань с колен! Кому я говорю, Алёна! – Папа поднял меня за плечи, оторвал от котёнка:

– Бездомные котята – заразные. Вдруг у него лишай? Или блохи?

Я прекрасно знала, что ответит папа, но попробовала возразить:

– Если он станет домашним, то уже не будет заразным!

Но папа уже вёл меня за руку всё дальше и дальше от котёнка. Такое бывало со мной часто, так что я и не удивилась. Я бы, наоборот, удивилась, если бы папа вдруг однажды спросил: «Эй, Алёна, возьмём этого котёнка домой?».

Мы принесли пирог, он совсем не пах – я специально засунула нос под плёнку. Мама тоже хотела понюхать, она только что вернулась с работы. Замученная, прозрачная.

– Это бәлеш! – сказала я маме, чтобы она не тратила свои силы ещё и на то, чтобы отгадывать, с чем мы купили пирог.

– Ой, какой уж это бәлеш? Так, одно название. Надо будет в отпуске испечь настоящий бәлеш, – вздохнула мама.

Лежнева Гюльnaz Ханифовна – прозаик. Родилась в 1983 году в г. Стерлитамак (Республика Башкортостан). Окончила Бирский филиал Башкирского госуниверситета (бывший БирГСПА). Печаталась в журналах «Бельские просторы», «Лоскутное одеяло» и др. Лауреат ряда литературных конкурсов, участвовала в проектах АСПИР. Предыдущая публикация в «ДН» – повесть «Нэнэй», 2023, № 9.

Потом мы поминали бабушку:

– Она была очень хорошим человеком! – сказал папа.

– И мамой была хорошей, – добавила мама.

И папа с мамой посмотрели на меня, то есть теперь я должна была сказать, что бабушка была хорошей бабушкой, но я сказала совсем не то:

– А бабушка бы взяла домой котёнка.

– Неправда! – в голос ответили мама и папа. – Ни за что бы не взяла.

Папа пролистал свою почту на планшете, жуя пирог. А когда дожевал, сказал, что завтра будет снег.

2

Недавно у меня появился приятель – сын наших новый соседей. И мы вместе ходили в школу. Несколько раз. Ну ладно, всего три раза, но я всё равно решила, что мы друзья. Поэтому я зашла за ним в школу сегодня. Но его мама сказала:

– У Коленьки скарлатина.

Пришлось топтать одной вдоль длинного «Мегастроя», мимо разномордных машин и одиноко брошенных грузовых тележек. Я искала глазами вчерашнего котёнка, но его не было.

В школе я сказал Марье Николаевне, что у Коли скотина, и она страшно испугалась. Видимо, как и я, впервые слышит, что бывает такая опасная болезнь, как скотина.

Хоть день и тянулся без Коли целые две недели, всё же и он закончился. Я пошла обратно домой мимо «Мегастроя». Прямо передо мной шёл первый в этом году снег, а за ним шла я, ужасно недовольная этим. Под ногами грязь и сырость, а серый унылый «Мегастрой» стал ещё серее и унылее. И настроение у меня было серым и унылым, поэтому, когда в моё серое настроение ворвалась ярко-красная музыка, я даже подпрыгнула от неожиданности.

Играли задорную «Плясовую». И «Плясовая» раскрашивала «Мегастрой», первый снег и всю меня. Я пошла, нет, я побежала вприпрыжку прямо на эти звуки.

У центрального входа в «Мегастрой» сидел старик и играл на баяне.

Я стояла и смотрела, не дыша и не шевелясь, знала же, что стыдно вот так просто взять и начать плясать на людях, если это не флэшмоб, конечно. Но старик кивнул мне, мол, танцуй, здесь можно! Я заплясала! Швырнула ранец прямо в лужу на тротуаре и стала отстукивать пятками ритм. Люди шарахались от меня, обходили и косились. А потом подошёл Васька из параллельного класса. Подошёл и уставился на меня.

– Ну? Чего уставился? – я очень рассердилась, что встретила Ваську.

– Ничего! – ответил Васька и протянул пятидесятирублёвую бумажку.

Я так растерялась, что бумажку взяла, но танцевать мне расхотелось. Старик, как почувствовал это, и затынул грустную песню.

Я подошла к нему. Села рядом. Потом спохватилась и сбежала за ранцем. Сидели на картонках. Снег бы всё шёл и шёл, но ветер не давал ему идти, и снегу приходилось летать и прилепляться к лицам, к курткам и даже к баяну.

Старик допел, и я вдруг подумала, что он бомж, тот самый, которых папа велел всегда обходить стороной. Обойти я его уже не успела, поэтому решила просто спросить, ведь внешность бывает обманчив.

– Вы бомж? – спросила я старика.

Старик перестал играть и даже закашлялся, так его мой вопрос взволновал.

– Однако... Почему тебе это интересно, дочка? – спросил он.

– Потому что папа велел обходить бомжей стороной! – сказала я правду.

– А кто такой бомш? – старик сощурился, будто я солнце и мешаю ему смотреть. Хотя, может, ему снег мешал...

Я загляделась на старика и забыла, кто такие бомжи. Хотя папа точно говорил мне.

– Божий... Общий... Местный... Житель... кажется, так? – попробовала я вспомнить спрятанные в БОМЖе слова.

Старик заулыбался во все три зуба.

– Однако! Нет, тогда я не бомш.

– Очень хорошо, я посижу тут ещё с вами, послушаю. Можно?

– Конечно.

– Очень ловко у вас это получается – кнопки нужные нажимать! – сказала я, а потом вспомнила Колю. Интересно, он, наверное, написал мне ВКонтакте что-нибудь. Я достала смартфон – проверила сообщения. Пусто.

– Щего вздыхаешь? – спросил старик, хотя я вроде бы и не вздыхала. Он стряхнул со своей зелёной тюбетейки снег.

– Приятель у меня завёлся. Колька. Заболел скотиной, и даже ничего не написал мне ВКонтакте за целый день. А ведь говорил, что день без меня – это скучный, грустный день...

Старик задумался.

– Ну, понимаешь, скотина – это такая тяжёлая болезнь, тут не до сообщений.

Я обрадовалась, ну не тому, конечно, что болезнь у Коли тяжёлая, а тому, что он не сам мне не писал, а из-за скотины. Но потом я снова заглянула в телефон – но ведь Коля был ВКонтакте минуту назад и даже посты какие-то вешал на стену про то, какой красивый первый снег за окном! Тьфу! И что тут красивого? Серая каша на весь город. Я рассказала старику, что Колина болезнь не мешает ему сидеть ВКонтакте и постить фотки:

– Вот что вы на такую скотину скажете?

Старик снова задумался.

– Однако... Да, это и впрям как-то по-скотски... Ходит по контактам, вешат там всякое про снег, а тебе даже весточки не послать! А што он должен был написать?

– Ну, он мог позвать меня в парк, когда скотина закончится...

На этом мы и остановились: какая бы тяжёлая на тебе не лежала скотина, написать пару сообщений в личку можно было, потому что откуда мне тогда знать, что он хочет со мной в парке погулять? Старик снова заиграл. Он сказал, что его зовут Бабай.

Я бы слушала его без конца, но промокла и замёрзла, поэтому встала:

– Спасибо. Мне пора.

Я уже пошла домой, как вдруг подумала, а почему это сам Бабай домой не идёт? Он же уже на сугроб похож, и тогда я спросила:

– Бабай, а почему вы не идёте домой? Ведь пора кушать.

Старик снова сощурился, а потом сказал:

– Старуха моя безо всякой скотины мне нищего не пишет. А я видел, она ходила по контакту-то. Совсем, как твой Коля. Но она же девочка, понимаешь? А я мальчик. Я буду пет ей и играт на баяне, она и подумает: «Как я могла не писат ему целый ден?», и напишет. Она во-о-он там живёт!

– А что потом? – я так радовалась, что кто-то меня понимает, потому что мама никогда не понимала, как можно расстраиваться, если тебе кто-то там не написал. Вот же, я знала, что можно.

– А потом? – старик снова задумался. – Потом она поймёт, какой я замечательный старик, и мы пойдём с ней гулять!

В эту самую секундочку Бабай стал мне другом, и я поняла, что хочу увидеть его ещё раз, узнать, что там со старухой.

– А если ваша старуха вам сегодня не напишет, вы и завтра тут будете играть?

– Конечно! Пока не напишет, каждый день буду.

Очень я этому обрадовалась и пошла домой. Когда я уже заворачивала за угол, то увидела, как какой-то человек кладёт монеты Бабаю в кепку, совсем как Васька мне недавно. Ну, люди! Уж ни спеть, ни станцевать просто так нельзя, обязательно свои деньги совать будут.

На следующий день сразу после школы я побежала к Бабаю.

Он сидел на прежнем месте и играл.

– Не написала? – сходу спросила я у Бабая. Он остановил баян и грустно покачал головой, а потом спросил:

– А тебе?

Я надулась и рассказала, что Коля мне так и не написал за вечер, и тогда я сама написала: «Привет, очень жалко, что ты заболел. Скучно без тебя в школе».

– А он што? – Бабай слушал не моргая.

Меня с таким интересом никто никогда не слушал.

– А он не ответил. Он даже не открыл сообщение!

Я стала объяснять, что Коля весь вечер был в сети, но не открыл моё сообщение, хотя он не мог его не видеть! А потом я спросила, выходила ли Бабаева старуха ВКонтакте вечером.

– Выходила, с сетью. Но ко мне не зашла. Однако.

– Ого, да у вас приложение есть, чтоб посетителей смотреть?

Старик поглядел на меня странно, и я поняла: это была его тайна, мне следовало сделать вид, что я не догадалась про приложение. Я достала из портфеля бутерброды, – специально положила побольше, чтобы с Бабаем перекусить после школы. Один я протянула старику, второй стала жевать сама. Потом мы пили шипучку из автомата: я сама предложила сбегать за ней, и Бабай дал мне монетки.

– Тэмле, – сказал Бабай, напившись.

– Что это? – я, конечно, догадалась, что это из татарского, но не знала перевода.

– Вкусно, значит!

Бабай рассказал, что он татарский Бабай. С самого рождения татарским был.

– Научите меня по-татарски говорить, – попросила я.

Мне нравилось, что кто-то может взять и запросто на другом языке заговорить. И тут мне показалось, что если Бабай объяснит мне, я завтра же и заговорю, и найду себе другого Колю, татарского и без скотины.

Бабай очень обрадовался. Всем нравится кого-нибудь чему-нибудь учить! И я узнала, что «я» по-татарски будет «мин». «Ты» – «син». «Мы» – «без».

– Мин – бабай, син – кыз, девочка то есть, – тут Бабай скорчил страшную рожу и сказал, что он «абау», значит – «ужас какой»!

Пошёл снег, и Бабай сказал:

– Мона карале, кар ява!

На татарском я не заговорила, всё оказалось не так просто. Зато смогла сказать: «Колька, син дурак. Сколько деньларов мне не писал! Тяжеломы, было написать?»

Бабай ко мне придрался. Он покачал головой:

– Ден по-татарски «көн» будет. И здес не надо «ларов», а нужно сказат: ни өчен син ничэ көн язмадың миңа. Поняламы?

Нет, я не поняла, я только поняла, что и Коля не поймёт, что я сказала. Поэтому я снова полезла в телефон, посмотреть, ответил ли он мне на сообщение.

И ужас! Он прочёл моё сообщение, и ничего на него не ответил и вообще вышел из сети. Бабай переживал больше меня:

– Однако! Што же ты тепер будеш делат? – спросил он.

Говорю же, этот старик всё понимает, ему не кажется, что я страдаю ерундой.

– Не буду больше ему писать! Нет, не так. Я не буду заходить больше ВКонтакте! Или вообще удалиться?

Бабай испугался так, что чуть баян не выронил.

– Не удаляйся, пожалуйста, дощенка!

Да в самом деле, что ж теперь из-за какого-то Коли страницу удалять? Бабай прав.

– Я вот ещё поиграю для старухи, она мне напишет, а может, и сам напишу вечером, – продолжил Бабай. – Нажарю щак-щак и напишу ей, шtbody чтобы ест приходила.

– Чак-чак? Я обожаю чак-чак, кто бы мне его ещё жарил.

– Сама пожарь.

И Бабай сказал рецепт чак-чака, а потом я пошла домой, ведь Бабаю ещё столько песен надо для своей старухи сыграть. Дома я поняла, что тесто для чак-чака и впрямь несложно делать, проблемы начались, когда мне понадобилась кастрюля, доверху наполненная подсолнечным маслом. Как-то неожиданно на кухне собрались и папа с мамой. Какие бы они ни были уставшие, они поняли, что без них я всю кухню залью маслом. Но потом и им понравился мой, ну ладно, мамин по Бабаеву рецепту, чак-чак.

4

Коля больше не выходил в сеть и, естественно, ничего мне не писал. На стене последним болтался пост про первый снег. После школы я побежала к Бабаю, у меня в портфеле лежал кулёк с чак-чаком. Я очень боялась, что старуха написала Бабаю вечером, и его там больше не будет. Но он сидел на том же месте и играл.

– Не написала? – спросила я.

– Я ей сам написал, но она даже не вскрыла письмо-то, – грустно сказал Бабай. – Хотя с сетью ходила по контактам...

Ах, как жалко старика, человек в годах, а тоже чахнет от неразделённой дружбы... Или уж любви? Но вот если бы его любовь была разделённой, то некого было бы мне чак-чаком угощать!

Обрадовался Бабай, всё хвалил меня. А когда мы с ним весь чак-чак умяли, он даже пальцы облизал.

– Однако! Ну и способная же ты, Алёнка! Хочеш, я тебе рецепт бэлеша напишу?

– Хочу! – я так хотела, что совсем забыла мамино лицо вчера и это ведро масла, в котором мы жарили чак-чак, а потом вылили его под дерево на улице, потому что дважды на одном масле нельзя готовить – коцагены... что поделать.

Пришлось пока отказаться от рецепта, и тогда Бабай сказал, что сам испечёт бэлеш. Потому что у него скоро день рождения.

– Приходи прям сюда же в воскресенье, я тут тебя ждат буду! – сказал Бабай. – Может, и старуха моя придёт, когда письмо-то моё прощтёт в контактах.

Я обрадовалась, что Бабай ради меня прямо здесь свой день рождения отметит, к нему домой, понятное дело, меня не отпустят. Но что же ему подарить? Надо быстренько получше узнать его.

– А вы родом из Стерлитамака? – спросила я и подумала, а как этот дурацкий вопрос может помочь в выборе подарка?

– Нет, из Менеузтамака, – ответил Бабай. – Там живут лучшие на земле пщелы и лучшие в мире хариусы!

– И жил лучший в мире Бабай! – подхватила я. – Как же вы теперь без лучших пчёл и харусов? В Стерлитамаке их вроде никаких нет, даже плохих.

Бабай пожал плечами, у него даже глаза заслезились от ветра. Я и не заметила, когда этот ветер подняться успел. Эх, жалко, нельзя подарить на день рождения пчёл... И даже если можно, то где бы я их взяла.

– Что значит, «тамак»? – спросила я.

– Усте реки, место, где река впадает в другую реку. В большую. Стерля в Ашкадар, Менеуз в Дёму. Может, дощка, когда-то Стерлитамак был не больше Менеузтамака. Так-то.

Я так и не придумала, что подарить Бабаю, а пора было бежать домой, переодеться и в секцию. На акробатику. Мы попрощались с Бабаем до воскресенья, а потом я шла и думала, что, оказывается, и Стерлитамак был маленьким, без этих серо-красных

коробок. Стоял себе в устье Ашкадара зелёными домиками с резными ставнями среди ранеток. А кругом жужжали пчёлы... Ну и харусы, конечно... Интересно, кто такие харусы, не забыть бы спросить у папы.

Вечером мне написал Коля, оказывается, он лежал в больнице с высоченной температурой, но теперь ему уже легче. Он сказал, что будет очень долго на карантине. Но мы можем созваниваться в скайпе. И мы созвонились в воскресенье, когда у Коли нет процедур. Коля рассказывал больничные страсти, а я слушала, раскрыв рот. И он и спросил, чего я так сижу – сгорбленная и с открытым ртом?

Я, конечно, покраснела, ну что, я и вправду сидела совсем непривлекательно. Разговаривать расхотелось, и я попрощалась. На улице снова шёл снег. Думать о чём-то, кроме того, как некрасиво я слушала Колю, не получалось. Так и лежала, думая, какая же я непутёвая и сгорбленная. Я вспомнила, что и Бабая я так же слушаю, но он-то дед, ему без разницы. А Коле вот не без разницы...

«И всё-таки, он мог и промолчать. Дурак этот Коля, не буду с ним дружить больше», – на этой мысли я и заснула. И мне снился Бабай и его баян. Я поздравляла его с днём рождения...

Я вскочила с кровати. Сегодня же воскресенье! За окном уже была ночь. Как я могла забыть про день рождения Бабая?

Я плакала от досады, злилась на себя. Я даже забыла купить подарок, хотя бы платок носовой! Папа и мама уже спали. Я пробралась в их комнату и постояла там, глядя, как они спят, а потом решила. На кухне я вытащила из холодильника всё, что нашла: помидоры, холодец, виноград, творожные сырки, колбасу и сметану. Достала из хлебницы хлеб и всё это сложила в пакет. На цыпочках я выбралась из дома и побежала к «Мегастрою».

Как же глупо бежать ночью на день рождения, если тебя на него звали днём. У «Мегастрою» не было ни души, только пустые тележки, брошенные покупателями.

Старуха, наверное, уже давно написала Бабаю, и больше он не выйдет играть на баяне... Я шла вдоль дороги, думала, обойду сквер и пойду домой, но тут прямо на дороге я увидела самого Бабая. Он лежал на спине, раскинув руки, рядом валялись баян и разбитый бэлеш. Видимо, тот самый – татарский!

– Бабай!!!

Я стала трясти Бабая, но он не отзывался, мне показалось, что он даже не дышал.

«Надо срочно в больницу!» – подумала я и побежала за тележкой «Мегастрою». Я кряхтела и пыхтела над Бабаем три часа – то тележка откатится, то Бабая не могу подхватить, хорошо, что я с трёх лет хожу на акробатику, а то бы не смогла уложить Бабая на тележку. И Бабаю спасибо, что худой такой.

После Бабая я затащила туда и баян. Потом и пакет с едой забросила. Я не выдержала и попробовала валявшийся на земле кусок бэлеша. Ох, ну и вкус! Точно такой, как мы на бабулины поминки ели! Наверное, он долго на земле лежал, поэтому весь свой татарский дух растерял.

Я покинула тележку в больничный городок. Когда я болею, меня всегда везут туда. Я взмокла и устала, но всё равно думала только про Бабая и его старуху. В приёмном покое меня встретили неласково:

– Девочка! Где твои родители?

– Дома, спят, – сказала я честно. – Бабаю плохо, посмотрите!

– До чего дожили! Дети бомжей на краденых тележках привозят! – охранник был таким возмущённым и сердитым, но я всё равно сказала, что Бабай не бомж! А тележку мы вернём!

– С чего ты взяла, что он не бомж?

– Он мне сам сказал!

Моего Бабая всё же осмотрел врач и сказал, что это сердце. Но из-за долгого лежания на холодной земле, кажется, у него воспаление лёгких. Мне пришлось сказать

мамин номер телефона, и папа с мамой приехали в больницу. Они даже не стали меня ругать, так прониклись к моему Бабаю, всё переспрашивали у охранника:

– Сама привезла тележку с дедом? Одна? Наша дочь?

Мне сказали, что Бабая положат в больницу, а я сказала, что где-то есть его старуха. И она волнуется за него. Надо найти его телефон в кармане, зайти ВКонтакте и написать ей.

Все стояли и молча смотрели на меня, как на круглую дуру. Потом, наконец, папа посмотрел в карманах Бабая. Бабай уже лежал на каталке и его собирались увозить.

– У него нет телефона, – сказал папа.

– И Контакта нет, – сказала мама.

– И старухи у него тоже нет, – сказала медсестра. – Это бездомный одинокий старик, он к нам иногда попадает, потому что у него слабое сердце.

Я молча смотрела в пол. Долго смотрела в пол, а потом сказала:

– Зато у него есть баян, и он умеет печь бэлеш и знает татарский язык. А ещё у него есть я...

Бабая повезли в палату. Мама сказала, что надо бы купить ему еды, и я вспомнила про пакет:

– Я уже собрала ему покушать! – сказала я, всё так же глядя в пол и протянула медсестре свой пакет.

Папа с мамой уже дома догадались, что было в пакете.

Папа выяснил, что Бабая зовут Халим и что у Бабая есть свой домик в Менеузтамаке.

– С пчёлами? – уточнила я.

– Очень может быть, – согласился папа.

5

Если бы Халим абзый выписался из больницы, то папа привёз бы его к нам домой. И у Бабая глаза бы загорелись при виде нашей кухни. Он вымыл бы руки и встал у плиты. А я бы сидела рядышком на табуретке и боялась сказать что-нибудь не то, ну там про старуху или про ВКонтакте. Поэтому я бы молчала.

А Бабай бы взялся за бэлеш. Сварил бы бульон, замесил тесто, нарезал бы картошку и баранину с луком. Потом бы долго пёк его в духовке. А когда аромат бэлеша дошел бы до самой моей школы, то Бабай открыл бы ему крышку и влил туда мясной бульон. Потом бы он жарил чак-чак. А на оставшемся бульоне с кусками баранины сварил бы суп-лапшу.

«Шурпу будешь?» – спросил бы меня Бабай, и я бы с радостью закивала.

Мы бы с Бабаем перемыли всю посуду и накрыли на стол. А потом пришли бы папа с мамой, они бы переглядывались загадочно, а сами всё ели бы и ели.

«Халим абзый! – сказала бы мама. – Оставайтесь у нас навсегда!»

А Бабай рассмеялся бы, показывая свои три зуба: «Спасибо, однако. Но я бы оцен хотел к себе. Домой».

И папа бы всё устроил. Он бы отвёз Бабая с баяном домой, в Менеузтамак. К зелёному домику с резными ставнями...

Но Бабая не выписали из больницы, и я узнала, какую именно старуху ждал Бабай. Он дождался. Она пришла к нему ночью в палату и забрала с собой. Навсегда.

Примечания:

- Главная героиня путает произношение слов.
- Бабай не выговаривает звук «ч», потому что в татарском языке нет такого звука.
- Чак-чак готовится в очень большом количестве подсолнечного масла, хозяйки часто из экономии жарят на этом масле второй раз.
- Бэлеш – национальный мясной пирог.
- Бабай – старик по-татарски.

Евгений Журавли

Сарлма

Рассказ из сборника «Афганский словарь»

Это называется «сарлма». То, что чувствуешь, испытывая жажду, предвкушая яблоко и представляя хруст, но не получая его.

Я узнал это слово много лет назад в одной бедной стране далеко отсюда, в неделю праздника Навруз, отмечаемого в день весеннего равноденствия. С тех пор каждый раз, когда ещё лежат пятна снега, но уже журчат ручьи и гомонят птицы, когда упругие лучи солнца давят на тело, заставляя непроизвольно расстегнуть куртку, — глаза мои вдруг наполняются чем-то тяжёлым и грудь начинает сотрясать от болезненных спазмов. Я спешу спрятаться и переждать волну наваждения. Всё это очень странно.

Странно потому, что события, произошедшие тогда, не должны побуждать такой болевой реакции. По сути, никаких событий и не было. Была усталость, иногда спокойная собранность или удивление, могли иметь место испуг, раздражённость или злость на самого себя... Но скулёт? Не знаю, что происходит. Каждую весну я вновь упираю лоб в стену и скребу ногтями известковую пыль.

В тот год я уложил вещи в сумку, пересчитал имеющиеся деньги и взял билет в один конец, подальше от места, где находился. Хватило мне до столицы гастарбайтеров, носящей странное название Понедельник. Непонятно, от чего бежал, к чему стремился. Просто однажды ощутил, что не вижу ни себя, ни своего места. Исчезни я — ничего не изменится, ни на что не повлияет. Брак мой, так сказать, трещал по швам, карьера выдохлась и не интересовала. Я больше не знал, что вокруг стоит ценить. Прибыв в Душанбе и сознав себя в этом чужеземном вакууме пустым и свободным, как чистый лист, я попытался написать что-то своё. Пусть и бессмысленное. Навязчивый позыв толкал прочь от городов, поэтому вскоре я сел в маленький самолёт на Хорог. Памир величественен, жители его отзывчивы и красивы, но долго оставаться на месте не смог. Все перевалы оказались завалены снегом, функционировала лишь одна дорога. Поэтому ещё через три дня, договариваясь с дальнобойщиками или просто поднимая руку, я оказался возле Кабула.

Журавли Евгений Вячеславович родился в 1979 году в городе Ярцево Смоленской области. Окончил педагогический факультет Калининградского государственного университета. Печатался в журналах «Берега», «Подъём» и других. Лауреат литературного конкурса «Русский Гюфман 2022». Живёт в Калининграде.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Солнце яростно жарило с неба. Ночью накатывал мороз. Обширные пласты снега на склонах, звонкие пенистые ручьи. Я шурился этой весенней яркости, взирая на осликов, идущих с хвостом вдоль шоссе. Заглядывал в мотоколяски торговцев, пытаясь узнать, чем они живут. Поднимал руку и останавливал грузовики, полные людей. Они говорили со мной, но вскоре переходили на жесты. Я был рад, что не приходится объяснять, кто я и куда иду. Мне нечего было ответить. Мои лицо и одежда пообтёрлись за неделю, на базаре в Кундузе я купил хлопчатые шаровары, которые, в зависимости от погоды, можно было носить так или натягивать поверх джинсов, и шейный платок, в него, как и местные, кутал лицо, когда пыльные ветры вывешивали над долинами колючие жёлтые туманы. Стал почти неотличим от окружающих. Растворился в этой стране.

Я шёл непрерывно почти неделю, уже ощущая под губами сладковатый привкус неисполнимой надежды, ещё не зная, что это. Воздух талых снегов, утренний дым очагов, страх перед внезапно возникающими вооружёнными бармалями, ежевечернее волнение поиска ночлега, пряный запах базаров, фальшивое спокойствие на блокпостах — всё это будоражило нутро, захлёстывая адреналином и отпуская по вечерам хмельным удивлением. Я обнаружил, что начал чувствовать что-то неведанное ранее и ревностно цеплялся за это новое ощущение. Казалось, взял след.

В тот вечер я сидел под жестяным навесом мехмунханы, микро-гостиницы, где остановился переночевать, пил чай, общаясь с хозяином на смеси всех языков. Была праздничная неделя, надвигался Навруз. Праздник был причиной радушия или обычай гостеприимства, но хозяин постоялого двора наотрез отказался от платы за стол, приняв лишь пять баксов за ночлег. На столе, а вернее, на дастархане — узорчатой чёрно-белой скатерти, постеленной прямо на земле, — стояли блюда с миндалём, халвой и ещё парой каких-то неизвестных лакомств. Нужно сказать, что сладости здесь стоят очень дорого даже для нас. В этом доме, выстроенном из глины и кривых коряг, в городе, похожем, как и все города здесь, на хаотично разросшееся гаражное общество, в этой стране, испепелённой солнцем и войнами, кто-то угощал меня.

Когда хозяин встал, чтоб пополнить щепками и водой дровяной самовар, я тоже поднялся размять затёкшие от непривычного сидения на земле ноги. За высоким дувалом смешивались с закатом синие отроги Гиндукуша. В очаге тлело несколько тёплых угольков. Она вышла из тёмного проёма своего глиняного жилища и встала прямо напротив, метрах в четырёх. Шлёпки, шаровары, широкая рубаха до колен. В руке книга. Голова полностью укрыта чадрой, лишь сквозь чашман — сетку для глаз — блестели огоньки взгляда. Постояв пару секунд, она откинула полог чадры.

Я оцепенел. Это была девушка лет двадцати. Вероятно, дочь хозяина. Правильные черты лица, тёмные волосы, однако светлые глаза. Зелёные или серо-зелёные, как у многих в этой стране. Была ли красива? Не знаю. Такое слово неточно. Она была родна мне. Будто увидел юную праматерь моих матерей. Узнал её. Ни европейцев, ни азиатов, ни тёмных, ни светлых. Тысячелетия рухнули, и я, первый Адам, смотрел на Еву. Стоял, боясь дышать. Конечно, не было никакого шанса ни прикоснуться к ней, ни заговорить, ни даже желать. Традиции здесь жёстки. Перешагнуть их не может и она. Ни жестом, ни словом. Лишь серьёзная сосредоточенность взгляда. Рисковый поступок, означавший одно: «Вот я. Я хочу жить. Ты ничего не можешь сделать. Но пришёл из мира, который существует в книгах. У меня больше не будет шанса. Просто знай, что я попыталась».

Никто из нас не произнёс ни слова. Я трусливо отвёл глаза, в ответ её тень тихо исчезла. Послышались шаги отца. Вид мой, наверное, был слегка взбудораженным.

Он что-то спросил. Я что-то пробормотал, потеряв кончик носа. С тех пор часто замечаю этот жест у других. Верный признак лжи. Хозяин оглянулся на тёмный вход своего дома.

— Сарлма, — сказал он, повернувшись. Усмехнулся и тяжело покачал головой. — Эпл, да. Ай, хорошо. Хочешь, не можешь. Ноу. Смотришь, вкусно. Дай. Не могу. Импосибал. Сарлма.

Немного помолчав, хозяин завёл самый искренний разговор, который я слышал в жизни. Он состоял из редких фраз, произносимых им почти в тишине. Но сказали эти слова больше, чем все предыдущие, даже если я понял лишь половину. Он говорил о человеческой жизни, стране, истории. О чести и судьбе. Говорил о невозможности. Шипел самовар, тянуло дымком. Я ни о чём не спрашивал. Просто слушал, ничего не чувствуя, боясь нечаянно выдать, что девушка открыла лицо. Мысли спутались. Два мира соприкоснулись и обязаны разойтись. У меня своя жизнь, у них своя. Когда он ушёл, я долго смотрел на угасающие огоньки в мангале. Из-под крыши навеса выглянули звёзды.

Ночь была тяжёлая и мутная, кажется, почти и не спал до тех пор, пока ишаки в окрестностях не затеяли рассветную переключку. Проснулся, наверное, позднее всех в этой стране. Вежливо попрощавшись, бросился к маршруткам. Но рейсов прочь от собственных мыслей там не оказалось.

Дальнейший мой путь похож на траекторию мухи в стеклянной банке. Бежал, гонимый странным предчувствием: казалось, что где-то рядом таится ответ на какой-то главный вопрос. Но разве можно увидеть ответ, не задавая вопроса? Ринулся к Хайберскому проходу в Пешавар, в Джелалабаде повернул назад, посетил Газни, еле выбрался из снегов Бамиана и отправился в жаркий Герат, но, не доехав, испугался и последовал в Балх и Мазари-Шариф. Визовые проблемы, военные операции, странные истории, погода или просто тотальное невезение — каждый раз я упирался в стеклянный потолок. Но и дойдя до конкретного места, ощущал, что прибыл не по адресу. Меня тянуло назад. Я отказывался это признать. Но лишь подумав о девушке, открывшей лицо, чувствовал сладковатый привкус под нёбом и спазмы некой свежести в горле. «Сарлма» — шептал я. Отгонял мысли, бежал дальше. Смотрел из окон микроавтобусов, как длинноухие овцы выискивают травинки и бумажки на каменистых склонах, как женщины в голубых паранджах идут по улицам с тюками и канистрами на головах. Старался ни о чём не думать. Не хотел вопросов. Но вновь и вновь задыхался от волнения, лишь вспомнив о ней. Наконец, перейдя по «Мосту дружбы» Аму-Дарью возле Термеза, я оказался в Узбекистане.

Серебристый самолёт унёс меня домой. Круг замкнулся. Вздурораженный, я рьяно принялся за свои дела и, признать, разрулил их быстро и успешно. С удивлением обнаружил, что многое, казавшееся проблемой, таковой не является. Оказалось, достаточно взять телефон и озвучить правду, фактическое положение дел. «Привет, я облажался. Что теперь?» «Не хочу с вами работать. Ничего не могу поделать». «Давай зафиксируем, кто кому сколько должен и разойдёмся». «Когда? Никогда». Столкнувшись с настоящей жизнью, я увидел, что вся прошлая была не более чем игрой в чужих обстоятельствах. Безобидной, но и бессмысленной. Подумав, я выбрал из своих желаний такое, которое показалось мне самым настоящим, с радостью покинул столицу и принялся за новую жизнь. Увлечённый обустройством, я иногда ловил в себе и ощущение чего-то знакомого. Сарлма. Жажда жить. Азарт. Сладость предвкушения. Но в этом чувстве уже не было зеленоглазой Евы. В своих мыслях я всё реже обращался ней. Да, жаль её. Но ничего не поделаешь. Такова жизнь.

Что я могу изменить? Лишь изредка, когда в ночном небе повисали какие-то особенно яркие звёзды, вдруг почему-то начинала содрогаться грудь и щипало в глазах. Звёзды у нас видно редко.

Время затёрло переживания. Чувства и желания, да и жажда жизни, стали не такими острыми. Я вновь ощутил себя плывущим по реке. Это была моя река, и не о чем было грустить. Мелькнула пара лет. Но однажды и в нашем дождливом краю выдалась солнечная весна. Ещё лежал снег, но кожа уже ощущала упругую теплоту солнца. Воздух будоражил запахами почвы, крикливой суетой прилетевших птиц. Везде был свет, везде была радость. Я ходил по улицам, удивлённо озираясь, вдыхал эту хмельную свежесть. Но что-то было не так. Что-то это напоминало. Вместе с пульсом, удар за ударом, волна за волной, на меня накатывало нечто знакомое, далёкое и щемящее. И, наконец, накрыло. Запершись в тёмной квартире, я скрёб пальцами доски пола и дышал на дверные косяки. Обнимал прохладные стены и зарывал голову в пыльные пледы. Содрогался и плакал. Плакал о ней, потому что она красивая и смелая, но не может изменить жизнь, о её отце, который хороший мужик и крепко правит своим маленьким ковчегом в том ужасе, о всех людях планеты, которые умеют чувствовать, и ещё больше о тех, кто живёт, ничего не чувствуя. Плакал о траве, которая растёт, но не знает зачем, о птицах, которые не переживут перелёта, о деревьях, которые не понимают, что предназначены на доски. Я рыдал о себе, бессильном что-либо сделать, и обо всех, кто о чём-то мечтал и продолжает надеяться. Потому что во всём, что есть в мире, есть след сарлма. Жить с этим оказалось невозможным.

Я открыл чёртов Гугл-мапс, пробравшийся в самые тёмные задницы мира, нажал «просмотр улиц» и стал бродить по глиняному муравейнику окраин Кабула. Шаг за шагом исследовал отснятые кварталы, вспоминая места, в которых находился. Шёл от них вглубь переулков в надежде увидеть крошечную мехмунхана, ставшую в моей жизни такой огромной. Повторял своё путешествие. «Салам. Ман аз руси. Мусафар. Четурасти?» — шептал я улицам и фотографиям людей в мониторе. Воспоминания оживали и отвечали мне. «На поегам. Кха. Шукрия». Я шёл. Забыв о еде и работе, продвигался всё глубже. Шабир. Кажется, его звали Шабир! Обнаружил несколько похожих строений, убегал от них на перекрёстки и возвращался снова. Странная мания овладела мной. Я накопил контакты располагающихся рядом торговцев. Найти таджика и попросить позвонить? Спросить, знают ли Шабира, у которого мехмунхана? Или написать Шабиру и спросить, как поживает его дочь? Это ж бред! Опасный бред. Что он подумает, если мне удастся его найти? Нет. Это хуже, чем бездействие. Нельзя вовлекать её. «Нельзя. Нельзя», — гипнотизировал я сам себя, но лишь когда полностью выдохся, смог остановить болезненное ралли.

Всё вернулось. И боль бессилия, и нежность, и злое чувство незавершённости. Так прошёл год. Я часто вспоминал о девушке, откинувшей полог чадры, и со страхом ждал новой весны. Знал, что снова буду прятать глаза и спешить укрыться, тяжело дышать в темноте квартиры, скулить от бессилия. Поэтому, лишь только слышалась капель за окном, не стал ждать. Посольство отказало в визе, но через два дня я уже был в Душанбе. Чуть было не сорвалось и там. Изготовив в фотошопе требуемую справку о поручительстве, якобы от русского МИД, на вторые сутки я пересёк Пяндж и нанял частного до самого Кабула. Как всегда бывает в это время года, ветер поднял вверх выжженную почву, мы двигались сквозь непроглядные пылевые туманы. Заночевали в пути — ночью в этой стране не ездят. К середине следующего дня высадился, наконец, на искомом пятачке окраины города и зашагал по бесцветным кварталам,

ставшим уже знакомыми. Что я ему скажу? Не знаю. В конце концов, деды и воровали себе жён. И ничего. Как-нибудь. Договоримся. Вот и ворота. Точно. Здесь.

— Салам аллейкум, Шабир! — выдохнул я. — Твоя дочь быть моя жена.

Сетка морщин вокруг глаз Шабира на миг разгладилась. Гостеприимно раскинув руки, он вдруг потупил взгляд, но всё же улыбнулся и обеими руками взял мою ладонь. А потом и обнял.

— Муж. Есть муж. Она жена. Далеко от тебя. Уже далеко.

Прошли годы. Но каждая новая весна всколыхивает меня вновь. Напоминает о чём-то неуловимом и настоящем. И я снова чувствую аромат надежды. Пусть и несбыточной. Бывает, к моим миражам примешивается и горечь — вкус пороха, пота и дорожной пыли, вкус табака, когда жуёшь его, пытаюсь бросить курить, или вкус железа, ощущаемый в крови разбитой губы. Наверное, это и есть вкус жизни. Чем бы он был без сарлма? Я благодарен афганской девушке, открывшей мне глаза на то, что такое жизнь. Влюблён ли был? Не знаю. На всей этой планете есть только один человек, который доверился мне целиком. Как и всё главное в жизни, просто волей случая. А я — единственный, кто мог изменить её жизнь. Но...

Сегодня я смотрю на своих юных детей и удивляюсь. Они похожи на неё. Может, память переписывает воспоминания, может, мы и вправду родня. Не знаю. Пытаюсь убедить себя, что и у неё есть дети. Потому что, пусть мы уже фальшивим, подстраиваясь и играя роли, успокаиваем, сравнивая с теми, кому ещё хуже, обманываем и оправдываем себя, но всё же отчаянно, до слёз, тайком, мы будем надеяться. Надеяться, что хотя бы наши дети смогут что-то изменить в этой чёртовой жизни, когда это будет необходимо.

И сейчас, думая об этом, снова ощущаю что-то неуловимое. Дыхание учащается, глаза против воли влажнеют. Сарлма. Вкус невозможного.

Марина Мазуренко

Весело гореть

* * *

Крошился снег. И было Рождество.
Угрюмо каркали вороны в огороде.
Я ощущала с ними крепкое родство,
Оскалившись, вещала о погоде.
О чём ещё болтают за едой?
Под лёгкий трёп всем веселей жуётся.
Цари шагали за горчицею звездой,
Икала шавка, обожравшаяся солнцем.
Кадриль закусок, индюка бурлеск...
Свет преломлялся сквозь бутылочные призмы,
И образок на письменном столе
Смотрел с изрядной долей скептицизма.

* * *

Псы ворчат, простуженно, негромко. За оббитым мишурой окном Дурачок идёт на остановку. Поздно-поздно, холодно, темно.	Снега мало. Пепельная наледь Пробует устойчивость подошв. Дым плывёт над маяком теплоцентрали, Пар слетает с огрубелых губ. Выше — смотрят, незнакомые, с печалью, Звёзды сквозь изношенную мглу.
Тусклые гирлянды в лихорадке, Равнодушна строгость фонарей. Парень улыбается украдкой Резкой, неуступчивой поре.	Тормозит последняя маршрутка, Дурачок влезает, помолясь. Уезжает праздничное чудо На конечную, в замёрзшие поля.
Песня дразнит заспанную память, Так негромко, слов не разберёшь.	

Мазуренко Марина Игоревна — поэт. Родилась в г. Нальчике в 1992 году. Автор сборника стихов «Сказки ветра над чёрной водой» (2020). Печаталась в журналах «Знамя», «Литературная Кабардино-Балкария», «Дарьял». Участница Форума молодых писателей России «Липки» (2019—2023 гг.) и проектов АСПИР. Живёт в Нальчике.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Верблюд у чегемских водопадов

В теснине ущелья привычно клокочет жизнь.
Проходит верблюд вдоль прилавков и водопадов:
Холодные брызги, папахи, платки, ножи,
Кафешки, парковка. Ощущение маскарада
Сильнее с каждым покачиванием горбов.
Ишаки вслед плетутся — подобие каравана.
Корабль пустыни, твоя кочевая кровь
Молчит, или тянет в забытые дальние страны?
И чудится, будто доносится издалека
Незнакомая песня. Ветер кажется горячее.
Шумят водопады, равнодушно бежит река,
Всё те же, всё там же: прилавки, верблюд, ущелье.

Мусорка

Мой друг, ты помнишь? В час, когда запели птицы
(А если по-простому — в три утра),
Неровно звякнули оконные глазницы,
Слизнуло сумрак зарево костра.

На улице, под сенью старой липы,
Горел зелёный пластиковый бак:
Вздывалось чрево, доносились хрипы,
И стеклотары дробная пальба.

То, что мертво в своей глубинной сути,
Внезапно стало будто бы живым.
Свет золотился, просыпались люди,
Стелился бархатно вонючий чёрный дым.

Везла рассвет пожарная машина,
Моргал неровно синеватый маячок.
Мы ждали зрелища, но больше — кофеина,
Коль скоро утро наступает горячо.

Сосед курил и тихо матерился,
Соседка — материлась посмелей,
Чадила мусорка, огонь упрямо бился
В сыреющей отравленной золе.

Едва ли обессмертят эти строчки,
Тебя, меня, пластмассовую клеть,
Но вот на фоне некоторых прочих
Есть шанс довольно весело гореть.

Вилюс Мизарас

Из книги «Амаркорды»

С литовского. Перевод автора

Вместо предисловия

Родился я в Литве 7 февраля 1939 года. Детство провел в деревне Штакиряй Биржайского района. Окончил 2-ю Биржайскую среднюю школу. В университет не поступил, за что сейчас судьбе очень благодарен — моя жизнь была трудней, но и интересней, чем у тех одноклассников, которые получили дипломы, даже ученые степени и весь век, сгорбившись, копались в бумагах.

Хлеб в основном зарабатывал, чередуя фотографию и журналистику. Начал с должности фотокорреспондента в Биржайской районной газете, в ней же, а потом и в газетах Пасвалиса и Шяуляя был зав.отделом писем. В Шяуляе — еще и руководителем школы корреспондентов. Места жительства менял в надежде где-нибудь получить квартиру. Везде обещали, но не давали. В этом виню и себя, точнее — свою неспособность вовремя обзавестись семьей. А холостяков жильем редко жаловали.

В 1969 году переехал в Ригу. Там квартиру получить удалось, несколько лет проработал фотографом на фабрике № 5 Главного управления геодезии и картографии при СМ СССР. На вредных условиях труда подпортив здоровье, работал в редакции газеты «Железнодорожник Прибалтики» и в Дорожном центре научной и технической информации. Работу там считаю романтичней всех других — с вагоном технической пропаганды исколесил всю Прибалтику и Калининградскую область.

Когда наступила эра кооперативов и организовывать их начали знакомые художники, я тоже устроился туда и как фотограф помогал им рекламами уродовать Ригу.

Не помню, с какого года, но семь с лишним лет (до закрытия литовской службы) считался корреспондентом радио «Свободная Европа» — раз в неделю, а иногда и чаще передавал обзор событий в Латвии.

Литературные пробы пера начал очень рано, со стихов. Первые рассказы написал, уже работая в газете. Печатался (вернее, печатали) мало. Книжки до «Амаркордов» вышли всего две — Kirminas и Sarka ant menesto («Сорока на Луне») в 1998 году.

До сих пор изредка подбрасываю в прессу эссе, где рассуждаю о не всегда лучезарных проявлениях нашей жизни.

P. S. Написал, прочитал и подумал, что изложил лишь основные официальные детали своей биографии, которые мало определяли мой внутренний мир, взгляды и т.п. Их формировали генетические факторы, симбиоз, а потом религиозные и политические противоречия в семьях родителей и родственников, позже — склонность копать в винегрете голов окружающих меня людей. Своей собственной тоже... Но обо всем этом получился бы слишком долгий разговор.

В.М.

Ливерпуль

Когда в нагих ветвях кленов начинают выть осенние ветры, моей бабушке становится тревожно. Она знает: скоро пойдет дождь, стекая с камня, вода просочится сквозь землю и доберется до ее головы. Это ей напомним избушку с соломенной крышей, эта крыша давно не штопана, и, как только начинается дождь, крупные бурые капли, похожие на клопов, сперва появляются на газетах, которыми оклеен потолок, потом, тоже как клопы, внезапно падают вниз на ее деревянную, накрытую полотнищем кровать, а позже — со стуком на земляной пол у печки и, наконец, начинают литься струей. Тогда моя бабушка хватается корыто, тазы, ведра и ставит туда, где капает или еще будет капать вода.

Сюда моя бабушка корыто с собой не захватила.

Но она верит, потому что читала в единственной книге, которая у нее была, что у всего, кроме Господа Бога, есть начало и конец, значит, придет конец и дождю, землю скует мороз, от проходящих ног и проезжающих колес машин она начнет звенеть, будут слышны приглушенные голоса людей, что говорят — не поймешь, но моя бабушка будет слушать их и другие звуки, как музыку, и не соскучится.

А ночью ярко-ярко, как некогда в молодости, будет светить луна, мимо нее поплывут облака, но будет казаться, что облака стоят на месте, а плывет луна, и тогда она, луна, у нее в мыслях превратится в огромный пароход, который давным-давно вез ее в невиданный неслыханный город Ливерпуль.

Сперва, конечно, было письмо. Обещал написать, как только туда приедет, но она ждала-ждала, как потом рассказывала, глаза прождала, и лишь когда ждать уже перестала, пришло не только письмо, но и шипкарта, она побежала к аптекарю и просила прочесть, ибо моя бабушка сама написанного от руки читать не умела, потом просила, чтоб читал еще и еще, слушая, совсем растерялась, комкала уголок косынки, и им же вытирала слезы, и не знала, что делать, и жалела, что сердилась на него, пропавшего, и было стыдно, что потеряла надежду. А писал он, что в той Америке все не так, как здесь им рассказывали, что золото и там с неба не падает, его надо потом зарабатывать в каменноугольных копах, что сначала было очень трудно, думал, что не выдержит, еще труднее, не зная языка, но теперь самые большие трудности позади, он накопил немного денег и купил ей шипкарту, ждет ее, как солнца восходящего, целует ее руки и ноги и снова ждет.

Потом моя бабушка с агентом уехала в Ригу, а Рига — очень большой город, будет больше Папилиса и Биржая, в кучу сложенных, там очень много фабрик с высокими дымящимися трубами, а дома каменные и очень похожие друг на друга, среди этих домов она заблудилась, агент ее еле нашел и накричал, что шляется одна где не надо.

В Рижском порту агент посадил ее на пароход, длинный-длинный, как от хаты до гумна, и она дни и ночи плыла в невиданный неслыханный город Ливерпуль, где, как ей объяснили, переседет на другой пароход и уже без пересадок доплывет до Америки, а там ее встретит тот, который ее ждет, как солнца восходящего.

И моя бабушка плыла и думала про чудесный город Ливерпуль, чудесный край Америку и особенно про того, который ее ждет, и не думала, что она будет моей бабушкой или что будет бабушкой вообще.

Теперь время ветров уже прошло, землю, как моя бабушка и надеялась, сковал мороз, и над нагими ветвями кленов белеют облака, моя бабушка смотрит на них и не может насмотреться, смотрит, потому что они очень похожи на морские волны,

а среди этих волн плывет лунный пароход, и моей бабушке начинает казаться, что на том пароходе сидит она сама и плывет, плывет, плывет в свой город Ливерпуль.

И моей бабушке даже на ум не приходит, что парохода, который ее вез, наверно, давно нет, ведь с того времени уже прошли две мировые войны, нет и того, который ее ждал и не дождался, нет, наконец, и ее самой. Есть где-то чудесный город Ливерпуль и чудесный край Америка, чудесны они для тех, кто их не видел потому, что не видел, как чудесно многое, чего не знаем или что не сбывается.

В Ливерпуле, перед пересадкой на другой пароход, у моей бабушки проверяли здоровье, сказали, что у нее что-то с глазами, наверно, слишком пристально она смотрела в сторону Ливерпуля и Америки, сказали, что с такими глазами Америке она не нужна, а с какими нужна, не сказали, и моя бабушка никогда этого не узнала. И возвращалась моя бабушка назад, и, возвращаясь, никуда не смотрела, и ничего не видела, ибо из ее негодных Америке глаз беспрерывно катились слезы.

Лунный пароход шумит, прорываясь сквозь волны облаков, как шумел тот, настоящий, шумел всю жизнь, и своими негодными Америке глазами, которые до восьмидесяти лет верно помогали рукам вдевать в иголку нитку, моя бабушка видела не свои нескончаемые заботы, а чудесный город Ливерпуль. А когда эти негодные Америке глаза стали негодны ей самой, чудесный город Ливерпуль из них переселился в рот, и все, кто собирался навестить мою бабушку, знали, что услышат давно знакомую историю о ее путешествии.

Теперь моя бабушка уже не имеет ни глаз, ни рта, не имеет и себя саму и даже не знает, была ли она когда-то вообще, может, была только ее поездка в Ливерпуль, которая продолжалась всю ее жизнь, продолжается и сейчас, потому что она ей верней и значительней, чем жизнь, и не смогли ее уничтожить никакие смерти, отделить никакие слои земли и куски камней, а может, и лежит здесь не она, а длинный-длинный, как от хаты до гумна, пароход и везет, везет, везет ее в невиданный неслыханный город Ливерпуль.

Времена года меняются, замерзшую землю покрывает снег, мягкий-мягкий, как одеяло, по ночам от лунного света он так нежно блестит, а днем поглощает звуки, для моей бабушки они сливаются с шумом волн, и ей кажется, что эти волны становятся все спокойней, пароход меньше качает, от вечного путешествия она начинает чувствовать усталость и засыпает.

А когда просыпается, уже шелестит зазеленевший клен, в его листьях играет ветер, а на ветку иногда садится скворец и начинает свистеть, а может, и просыпается моя бабушка от его свиста, ибо он напоминает ей звуки невиданного неслыханного порта, звуки того далекого путешествия. А может, просыпается моя бабушка от самой весны, ведь говорят, что весной просыпается всё, и если это правда, значит, просыпаются и мертвые, просыпаются и слушают все весенние звуки, а тех звуков много и здесь, они возникают не только от ветра и от птиц, но и от людей, которые проходят и проезжают, топают ногами, шумят, и разговаривают, и смеются, и поют, и часто совсем недалеко от нее, за каменной оградой, стучат автомобильными дверцами, курят, плюются, ругаются и снова, стукнув дверцами, удаляются в свои коммунальные квартиры, в свои коллективные сады, к своим кофейным чашкам и к своим телевизорам. И пусть удаляются, пусть дымятся, пусть пылятся — как однодневные мотыльки, как кофейный пар, как сигаретный дым. И пусть будет благословен желанный-желанный, далекий-далекий город моей бабушки Ливерпуль.

Елена Тарилова

Страна-сказка Арабского Востока

Более тридцати лет наша семья живет в самом сердце Ближнего Востока — на берегу Персидского залива, который арабы называют Арабским заливом.

В 1993 году мой муж, известный специалист по Арабскому Востоку, свободно владеющий арабским языком, получил предложение работы в одном из российских банков в странах Залива. Тогда только устанавливались дипломатические отношения России со странами этого региона, которые считались сферой влияния Великобритании и США. Я знала Арабский Восток лишь по книгам и рассказам мужа, сама там никогда не бывала, хотя преподавала арабам русский язык.

Впервые в Дубае

Впервые мы оказались в Дубае проездом из Бахрейна в Москву в 1990-х годах. После маленького и уютного Бахрейна бурно строившийся Дубай совсем не впечатлял. Город суетился, торопился, куда-то мчался вопреки беспощадному зною и влажности. Хотелось отыскать место поспокойнее. И таким местом оказался Абу-Даби — столица Объединённых Арабских Эмиратов, самый большой и самый богатый эмират из семи, входящих в Федерацию.

Арендовав машину, мы помчались в столицу эмиратского рая. После туннеля машина выскочила на новенький шестиполосный проспект Шейха Зайда. Слева красовалось первое высотное здание — Всемирный торговый центр с окнами-сотами и декором в восточном стиле. Вскоре по обе стороны проспекта встанут фантастические ансамбли высоток, очень разных по цвету и форме, с фасадами из удивительных по красоте и разнообразию стеклянных панелей. Вдоль домов зазеленеют газоны с цветущими кустарниками и пальмами.

Тарилова Елена Геннадиевна — филолог, лингвист, историк. Окончила Московский государственный лингвистический университет им. Мориса Тореза. Автор учебных пособий по методике преподавания русского как иностранного, множества статей об истории и культуре арабских стран. Работала директором Департамента языков и культуры в Международном центре обучающихся систем (ЮНЕСКО). Председатель Ассоциации российских соотечественников в ОАЭ. Координатор проведения ежегодного круглого стола по русскому языку в ОАЭ. Член Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО). Живёт в Дубае.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

А пока широкий проспект сменился двухполосным шоссе, ведущим в сторону Абу-Даби, по обе стороны от него взгляд упирался в песок — пустыня! Она здесь совсем рядом. Всегда рядом. До горизонта. Арабы говорят: «Пустыня — это сад Аллаха, откуда Властитель правоверных удалил всю лишнюю людскую и животную жизнь, чтобы на земле было хоть одно место, где Он мог бы бродить в одиночестве...»

Две трети территории ОАЭ находятся в пределах одной из крупнейших и самых жарких пустынь мира — Руб-эль-Хали, известной красными, оранжевыми и бурыми дюнами и барханами. Но и здесь есть жизнь: оазисы, торговые пути, по которым веками тянулись караваны верблюдов. Верблюд — это и вид транспорта, и источник питания. Особенно ценится верблюжье молоко в сочетании с финиками.

Обжигающий ветер заметал шоссе горячим песком почти до самого Абу-Даби... Ехали долго и успели насмотреться на скупой, но выразительный пустынный ландшафт. И только километров за двадцать до Абу-Даби по обочинам шоссе стали появляться ряды финиковых пальм, рощицы деревьев и кустарников.

Климат

Сейчас в Абу-Даби много зелени, чисто, пафосно — чувствуется столичный дух. Впечатляет набережная Корниш с благоустроенным тенистым променадом. В Эмиратах и других арабских странах не принято ходить пешком, особенно женщинам (проезжающие автомобили начинают гудеть, притормаживать и предлагать подвезти). В городе передвигаются в основном на машинах.

За тридцать лет жизни в странах Залива мы привыкли к жаркому пустынному климату. С середины мая по ноябрь температура воздуха доходит до +53 градусов по Цельсию при очень высокой влажности. На улице всё влажное: дорожки, лестницы, скамейки. Даже волосы становятся влажными, а очки запотевают. Но как только ветер меняет направление и начнет дуть из пустыни, воздух становится сухим, горячим и обжигает кожу. Этот ветер (по-местному — хамсин) приносит песчаные или пыльные бури. Дороги, дома, балконы заметают песок и пыль... Даже солнца не видно, небо закрыто завесой серого или серо-красного песка. Возникает ощущение пасмурности, как в дождливые дни у нас в России. Бедуины закрывают лицо, рот и глаза платками, защищаясь от песка и пыли. Сейчас люди спасаются от жары под кондиционерами, они установлены в домах, торговых центрах, офисах, кинотеатрах, автомобилях, лифтах, автобусах и даже на автобусных остановках. В сезон изнуряющей жары выбегаешь на улицу минут на пять, чтобы погреться после кондиционера. Европейцы, да и местные стараются уехать на лето. Жара спадает лишь во второй половине октября, а в ноябре наступает долгожданный бархатный сезон. Зимой понадобятся свитера, пиджаки и куртки. В феврале-марте случаются дожди, иногда проливные. Поскольку на дорогах не везде предусмотрены стоки, улицы часто затапливает. Местные не умеют водить машины в дождь, число пробок и аварий резко возрастает.

Мусульманское, но многоконфессиональное

ОАЭ — мусульманское государство, главный закон страны — шариат. С четырех-пяти часов утра с минаретов доносится азан — призыв к молитве, пять раз в день. Фотографировать молящихся нельзя. Как и арабских женщин. Следует соблюдать правила в одежде: женщинам не рекомендуется надевать наряды, оголяющие плечи и шею, а мужчинам появляться в шортах в кафе и ресторанах. Местные жители, как правило, носят национальную одежду.

Употребление алкогольных напитков в общественных местах запрещено, допустимо — лишь в ресторанах и кафе. Алкоголь можно купить в специализированном магазине при наличии лицензии на покупку. За распространение наркотиков грозит тюремный срок с последующей депортацией.

Эмираты многоконфессиональная страна. У местных жителей и проживающих здесь иностранцев принято с уважением относиться к другим религиям. В Абу-Даби, Дубае и Шардже открыты христианские храмы, синагоги и молельные дома. В Шардже с 2013 года действует первый на Аравийском полуострове русский православный храм святого апостола Филиппа: бежевые стены, бирюзовые крыша и купола, увенчанные ажурными золотыми крестами.

Коренное население и иностранцы

Коренные эмиратцы составляют около 10 процентов от общей численности населения (это свыше 10 миллионов человек). Дубай поставил перед собой амбициозную задачу: получить статус самого комфортного города мира. Эмиратцы заняты в ключевых отраслях экономики, занимают руководящие должности в государственных структурах, банках и компаниях. С начала 2000-х годов правительство взяло курс на эмиратизацию занятости населения, то есть на приоритет в трудоустройстве граждан ОАЭ перед иностранцами и постепенную замену иностранных специалистов национальными кадрами. Кроме высоких зарплат и доходов от собственного бизнеса граждане ОАЭ получают большую социальную поддержку от государства. Молодой семье полагается единовременная выплата — 120000 долларов, при рождении первенца — пособие в 55000 долларов. Каждый гражданин мужского пола при достижении двадцати одного года становится обладателем земельного участка и значительной суммы денег для строительства дома. В первые годы трудовой деятельности зарплата граждан составляет 4000—5000 долларов, по мере повышения квалификации — 10000 долларов. Пенсионеры и нетрудоспособные обеспечены пенсией в 100000 долларов в год. Предусмотрены бесплатное пользование электричеством и водой, медицинское обслуживание, среднее и высшее образование (в том числе за границей). Социальные выплаты и привилегии не распространяются на иностранцев.

Небоскребы в Абу-Даби, Дубае и Шардже строятся исключительно для иностранцев и экспатов. С 2002 года иностранцам разрешили покупать жильё. Для местных в ОАЭ действует лозунг «каждой семье — собственное жильё», то есть отдельный собственный дом.

Жилище

Местные семьи очень большие: два-три поколения проживают под одной крышей в просторных домах с большими участками, где есть сад, бассейн, фонтаны и детские площадки. Классический дом в арабском стиле или дом в современном дизайне имеют окна из светоотражающего стекла — золотого, голубого, зеленого, розового, бежевого. Очень эффектно! Примечательны забор и ворота. Забор обычно глухой, но бывает ажурным чугунным или с металлическими вставками, а ворота — с узорчатым рисунком или с позолотой. За придомовыми участками ухаживают садовники, или ландшафтные дизайнеры. У арабов не принято держать собак, но сейчас их стало больше, особенно породистых. В некоторых семьях есть кошки. Богатые семьи устраивают для своих детей мини-зоопарки с дорогими экзотическими животными и птицами.

Илья Фаликов

Прощение мастерства

Александр Межиров: неюбилейное

На рубеже шестидесятых — семидесятых годов прошлого века Александр Межиров написал стихотворение «Убывает время...», где сказано:

И я не то чтобы
слишком болею.
Не то чтобы усталость
доканывает меня, —
А всё юбилеи стоят,
юбилеи,
Юбилейные какие-то
времена.

Мой нынешний разговор — не про это. Не про юбилей. Хотя таковой имел место в сентябре минувшего года (Межирову — 100 лет).

Александр Межиров смолodu думал о мастерстве. О ремесле поэта. О том, как делать стихи. О том, как избежать следов сделанности. Самой его отрицательной оценкой стихов было: «Выделка». Однако:

Мастера — особая
Поросль. Мастера!
Мастером попробую
Сделаться. Пора!

«Мастера»

Ему и его недоброжелатели охотно уступили титул мастера, ибо версификационное мастерство считается чем-то второстепенным относительно боговдохновенности.

Сам он полагал иначе:

Вы на нём вымещали
Все свои неправы,
А ему не прощали
Волшебство мастерства.

«Призвание-II»

За блестящими стихами должен стоять смысл поручения, даденного поэту свыше. Постигание поэта равно прощению его мастерства. Звук смастерить невозможно.

В межпоэтических отношениях дело не ограничивается вольным или невольным усвоением метафоры или даже интонации.

Я тебе подарил только звук,
Только собственный звук, незаёмный,
Только сущность поэзии тёмной...

«Другу»

Сам эпитет «поэзии тёмной» взят Межировым у Бунина («Поэзия темна, в словах невыразима...» из сонета «В горах»). Межиров постоянно искал для себя пустынно-аскетический стих. Вот почему оказалась возможной такая — давняя — его фраза по телефону:

— Я пришел к заключению, что Блок — второразрядный гений.

Пауза. Младший собрат, бывший боксер, спрашивает:

— А кто работает по первому разряду?

— Ходасевич.

Когда-то он сказал одному из учеников:

— Задним числом я понял, что, когда я писал «Коммунисты, вперед!», во мне звучал Мандельштам: «Мне на шею кидается век-волкодав...»

Однако ту интонационную фразу, что лежит в основе самого известного его стихотворения, можно отыскать — и сходства тут больше — в «Триполье» Бориса Корнилова (1934):

И тяжёлые руки,
перстнями расшиты,
разорвали молчанье,
и выбросил рот: —
Пять шагов, коммунисты,
кацапы и жида!..
Коммунисты, вперед —
выходите вперед!..

Не в этом дело. Существенней другое: ни Бунин, ни Ходасевич, ни Корнилов в пору создания «Коммунистов» (вторая половина сороковых прошлого столетия) и близко не подпускались к пиршественному столу советского стихотворства.

Между тем проблема мастерства, ремесла, того особого вида деятельности, которая отличает литературных людей от всех остальных, с нешуточным постоянством занимала Межирова в течение всей его долгой жизни, исполненной непрерывного творческого труда.

Обессилен,
ослеп
и обезголосел, —
Мне искусство больше не по плечу.
Жизнь,
открой мне тайну своих ремёсел, —
Быть причастным таинству
я
не хочу.
Да будут взоры мои
чисты и невинны,
А руки
натружены, тяжелы и грубы.
Я люблю
чёрный хлеб,
деревянные ложки,
и миски из глины,
И леса под Рязанью,
где косами косят грибы.

Существует дистанция между полем действительности и полем поэзии. На войне был московский мальчик, вчерашний школьник — в поэзию же вошла коллизия «интеллигенция и война», а точнее — «поэт и война».

И правда, в Синявинских болотах Межирова мёрз и погибал совсем не Вася Тёркин, а «Фантазёр и мечтатель. Его называли лгунишкой» («Стихи о мальчике»).

«Судьба моя сложилась таким образом. Всех, кто кончил 10-й класс, кто был на ногах, при руках, призвали, в том числе и меня. Потом большинство сказали, что они пошли добровольцами. Однако, если говорить по совести и чести, то я добровольцем не был. Более того, я ещё не слишком верил в страшные зверства немцев. Потому что я не представлял, как это немцы — с Моцартом и Бахом — могут делать такое. Мне было 17 лет»¹.

Нам предстоит принять парад цитат. Межиров афористичен, формулировочен, эпиграмматичен, лаконичен — богатая пища для обильного цитирования.

Так вот: межировский автогерой признаётся:

Ты пришла на меня смотреть,
А такого нету в помине.

«Прощай, оружие!»

Он неслыханным образом в разгар милитаризма и едва поугасшей борьбы с космополитизмом вторит голосу с Запада — Хемингуэю: роман «Прощай, оружие!».

Он отказывается от войны. Не в пацифистской полуслепоте — напротив:

О войне ни единого слова
Не сказал, потому что она —
Тот же мир, и едина основа,
И природа явлений одна.

«О войне ни единого слова...»

Про него говорили: мистификатор. Всякое говорили. Межировская правда — его преданность поэзии и его стихи.

Был русским плоть от плоти
По мыслям, по словам.
Когда стихи прочтёте,
Понятней станет вам.

«Москва. Мороз. Россия...»

Он закончил свои дни в США. На склоне его дней президент Клинтон вручил русскому поэту грамоту за участие во Второй мировой.

«Проникнутая духом партнёрства и взаимопомощи, благодарная Нация никогда не забудет Ваш несравненный личный вклад и жертвенность, проявленную во Второй Мировой Войне.

Белый Дом

27 сентября, 1994. Вильям Клинтон»².

Существует некоторая неясность — хотя бы в занятиях его отца: Пинхус (Пётр) Израилевич Межиров был то ли юрист и медик, то ли юрист и экономист. Евгений Евтушенко считал межировского отца бухгалтером, даже дома не снимавшим чёрные нарукавники. Сам Межиров говорит: «Мой отец, юрист по профессии, был всесторонне образованным человеком»³.

Вера Калмыкова

Разворачивая пространство

Художник Вера Колганова

Художественная династия в современной России не редкость; правда, младшим представителям знаменитых фамилий сейчас уже к шестидесяти годам, и бывает, что преемников у них нет... Но каждая эпоха по-своему распоряжается людскими судьбами и наследием. Обратимся к тому, чем мы владеем, зачастую даже не зная о своем богатстве.

Вера Колганова — дочь Владимира Дмитриевича Колганова (1923—2014), одного из старейших художников мастерской «Промграфика». Всю жизнь он создавал товарные знаки, этикетки, плакаты, эскизы значков, упаковок — того, что в Советском Союзе называлось промышленной графикой, потому что буржуазное слово «дизайн» не использовалось. Филателисты до сих пор помнят серии марок Владимира Колганова «Заповедник Аскания Нова», «Беловежская пушча», «Кавказский заповедник», «120 лет Московскому зоопарку». Для Палеонтологического музея им. Ю.А.Орлова в Москве Колганов делал научные реконструкции облика динозавров, которые и ныне можно видеть в витринах. Сотрудничал с учеными-палеозоологами, такими как Константин Константинович Флёров, предоставлявшими художнику кости скелета, чтобы тот «одевал» их живыми тканями.

Манера Владимира Колганова скрупулезна и близка к миниатюре. *Аккуратности, подробности и внимательности* он хотел научить и дочь; но в жизни восьмилетней Веры появился еще один живописец, Александр Павлович Жданов (1938—2006), отчим ее детской подруги. У того все было совершенно иначе: широкие планы, обобщенные пространственные образы, минималистические, но эмоционально насыщенные композиции. Это ей оказалось ближе.

Окончив Детскую художественную школу № 1 (ныне она носит имя В.А.Серова), а затем Строгановку (факультет интерьера, отделение мебельно-декоративных тканей), работала на заказ, участвовала в выставках. Одно время преподавала в знаменитой авторской «школе самоопределения» А.Н.Тубельского.

После первого курса Колганова впервые оказалась на Куршской косе. Говорят, до революции 1917 году здесь жила колония художников, упивавшихся необыкновенным пейзажем, лаконичным и насыщенным. Сюда Вера при любой возможности ездит и сейчас; это ее место силы: «Мой свет, мой цвет, мой космос. Куршская коса расположена между заливом и Балтийским морем. Здесь свой климат. На заливе может быть шторм, а на море тепло и солнце. Выбирай себе погоду по состоянию души

или настроению. Пишу я в мастерской по наброскам, но все, кто был на Куршской косе и видел потом мои работы, сразу узнают эту местность».

Живописная манера, усвоенная от Александра Жданова, оказалась как будто специально предназначена для воплощения куршского ландшафта. Искусство, наложившись на действительность, вызвало к жизни нового художника.

В начале 1990-х Вера участвовала в оформлении интерьеров и витрин Геологического музея. К этому времени относятся работы, выполненные уже в ее собственной манере, крайне далекой от отцовской, но не повторяющей и Жданова или кого-либо еще. Широкий, долгий, не отрывая руки, мазок — на каждой работе их получается всего несколько, — и на листе возникает образ.

...О нескольких великих классиках Востока и Запада рассказывают одну и ту же историю. Пришёл к мастеру заказчик, захотел картину купить. Взял мастер лист, взял кисть, взмахнул раз, взмахнул другой — и возникло чудесное изображение. Заказчик онемел от восторга. Но когда автор назвал цену, взвыл: «Ты работал десять минут, за что такие деньги?» «Десять минут и всю жизнь», — ответил художник.

У Веры не было долгой «всей жизни». Так случилось, что в день рождения дочери она осознала конечность собственного бытия. Сразу прозвучал и ответ на этот вызов — творчество, всегда, невзирая на житейские обстоятельства. Поначалу она работала гуашью и вообще всем, что попадалось под руку, хоть хозяйственной эмалью или синькой, на любых плоскостях, хоть на утеплителе. Надо понимать, что материалов для художников в восьмидесятые-девяностые годы почти не было; Колганову, как и многих других, волновала не будущая сохранность, а процесс, достижение результата. Потом появился акрил; позже, в какой-то момент Вера нашла свою технику — масло по бумаге.

Эксперименты с этой техникой известны, по крайней мере, с 1960-х годов. Однако у большинства художников все остановилось именно на стадии проб, потому что масляная краска имеет свойство проступать сквозь бумагу; на обороте возникает огромное, порой в размер всего листа, жирное пятно. Вера Колганова нашла некое соотношение краски и разбавителя, при котором этого не происходит.

Не только манера в целом, но и материал, выбранный для работы, есть прямое продолжение существа художника, психического и физического. Это одна из тайн творчества, наименее исследованная и манящая. Ключевое слово — органика: для кого-то естественна пастель, кто-то создаёт чудеса из «детсадовской» гуаши, иной не мыслит ничего, кроме темперы. На обращённый к Вере Колгановой вопрос, почему она пишет маслом по бумаге, автор пожимает плечами: «Так получается».

И очень непросто получается, ведь соединяются два вида искусства — живопись и графика. В работах Колгановой белый лист играет традиционную для графики роль, служа полноценным изобразительным средством. Вера никогда в годы сознательного творчества не заполняла лист целиком, белое для нее — знак и образ пространства. Масло же на бумаге приобретает прозрачность, но при этом сохраняет возможность «лепить» форму, «выращивая» объёмы мазками и красочными массами. Прозрачность масла делает работу светонесущей, хотя источник света здесь не предполагается, речь ведь не о натуралистическом пейзаже. Мазок у Колгановой иногда бывает единственным для каждой части композиции, очень длинным и широким, протяжённым, как природный объект, образ которого она передаёт, будь то берег, или река, или гора, море, дерево. Образ же всегда выглядит цельным, как в натуре.

Иногда хочется причислить Веру Колганову к минималистам, и это будет неправильно — объекты её внимания располагаются свободно, вызывая ощущение

изобилия и торжества природы, широты захватывающего дух Замысла. Иногда хочется назвать художника экспрессионистом, что тоже ошибка: при эмоциональной насыщенности каждой работы здесь нет напряжённости, драмы, это концентрация созерцателя, а не преобразователя. Колганова ничего не добавляет от себя — ей дано видеть основные линии развития изобразительной темы и взаимодействие цветовых пятен. Это она и запечатлевает, оставляя подробности за пределами композиционного решения.

Один из любимых художников Веры Колгановой, Эндрю Уайет, все же значительно больше внимания уделяет конкретной детали. Вспоминается и Пётр Дик, но в большинстве его работ драма бытия как раз и выходит на первый план.

...А параллельно идет ее жизнь, обычная, как у всех. Болезнь и похороны матери, а потом отца, печальные и радостные обстоятельства, свои и близких, необходимость поддерживать быт. Для Веры Колгановой жизнь и творчество не противопоставлены, это, как она говорит, «одна ткань». Эмоционально для нее прошлое мало чем отличается от настоящего, далекие предки — от нынешних знакомых. Неслучайно в 2019 году в Острогжске, на родине бабушки-блокадницы Серафимы, в Историко-краеведческом музее им. И.Н.Крамского Вера сделала выставку «Михаил и Ольга со чадами: История семьи, рассказанная правнучкой». Михаил и Ольга Орловы жили в Острогжске до революции, были людьми состоятельными, имели двенадцать детей, любили друг друга. В 1914 году Ольга Николаевна умерла. Семейная легенда гласит, что муж скрестил на груди руки и ушел вслед на сороковой день после ее смерти.

Внимательная к людям, Вера редко делает их героями своих композиций. Знак человеческого присутствия — точка зрения художника, место, откуда увиден пейзаж.

Конечно, Куршская коса не единственное место, куда ездит Вера — освободить глаз, увидеть мир заново, вырвавшись из рутины. О путешествиях она рассказывает сама.

«Многие годы я ездила в Судак, а в 2021 году приехала в Андреевку под Севастополем, в совершенно непривычный и неизвестный для меня Крым. Не южный берег, здесь всё иное. Здесь нет скал и камней, но есть обрывы и рыжие глины, и на этих глинах растут совершенно фантастические деревья. Отвесная песчаная стена вдоль берега. Другой Крым: море, глины, песок.»

«Мангуп-Кале — место с богатой историей, там есть пещеры, развалины крепости, гора. Из всего этого возникают завихрения линий. Но мне нужны пространственные меты, вешки, координаты, чтобы относительно них строить изображение на листе: я ведь пишу не вещи, не фигуры, не явления природы, а скорее обозначения всего этого. Ими стали стога сена, которые получились в результате как жемчужины.»

«Все новгородские работы сделаны на натуре. Квартира моей подруги окнами обращена к церкви Спаса на Ильине. Я сидела у окна и рисовала, на подоконнике стояла ваза. Получился и натюрморт, и пейзаж вместе. Церковь Параскевы Пятницы тоже натурная. Ещё я ходила на пленэр. Для меня очень важно отсечь ненужные детали, но при этом сохранить наполненность, смысловую и композиционную ценность момента.»

«Пустыня Негев в Израиле — одно из красивейших мест на земле. Невысокие горы фантастических цветов и оттенков, от светлой охры до лилового, иногда светлого, иногда густого. Цвет зависит от погоды, от солнца. Мне хотелось уйти в эту пустыню и надолго остаться там с горами и красками.»

«Чаще я работаю в мастерской, по памяти. Тщательно сохраняю наполненность момента и расстановку основных знаков. Если луна располагалась слева, значит, и на рисунке она должны там быть. Иногда, конечно, забываю, в этом случае приходится делать варианты. Но эмоция сохраняется, иначе я не стану работать. Работы из Переделкина, как и новгородские, — натурные.»

В годы последней болезни Владимира Дмитриевича Вера не могла писать картины: уход за больным забирал почти все время. Без творчества, однако, невозможно. Тогда-то она и стала заниматься валянием из шерсти, используя облегченную технологию. На помощь пришла стиральная машина: шерстяную гребенную ленту надо пощипать на отдельные кусочки и выложить на поверхность, на синтетическую ткань, с учетом дальнейшей усадки примерно на треть. Первые два слоя — основа, дальше еще два — будущее изображение. Затем нужно свернуть полученное полотно в рулон, закрепить булавками, пришить нитками и отправить в стиральную машину. Двух стирок хватает, чтобы получилась композиция, которая потом высушивается.

Ковры Веры Колгановой, ее росписи по ткани, как и станковые произведения, неоднократно экспонировались в Москве и других городах России. Режиссер студии «Арт-Эрия» Андрей Бабаев снял о Вере несколько фильмов, в том числе, и о ее текстиле.

Валяные изделия сегодня в большой моде. Это одежда, обувь, дамские аксессуары, словом, то, что традиционно относится к области декоративно-прикладного искусства. Изделиями можно пользоваться — украшая себя, например. Но и в этом случае с Верой Колгановой не так все просто. Нить и ткань для этого художника — то же самое, что масляная или акриловая краска, с единственным отличием: место живописной или графической основы занимает тот же материал, из которого выполнен изобразительный мотив.

Глубокое уважение живописца или графика к мазку, фактуре, картинной плоскости, листу повсеместно и свойственно каждому настоящему профессионалу; размышления о пластических и колористических возможностях графитного карандаша типичны; но почему нельзя распространить такое отношение и на текстильные материалы?.. Вера Колганова это делает с тем же артистизмом, с той же смелостью и естественностью, с которой пишет картины масляной краской по бумаге. В обеих областях деятельности перед ней стоит задача проникнуть, пусть лишь на доступную человеку глубину, в тайны Творения — и передать другим своё понимание. Больше она ни на что не претендует. Но если речь идёт о расширении радиуса применения материала, то, значит, заходит разговор и о глубоком чувствовании жизненной материи, круговорота веществ в природе.

О единстве труда и молитвы, безмолвной и возносимой с помощью физического действия — жеста работающих рук.

ВЕРА КОЛГАНОВА



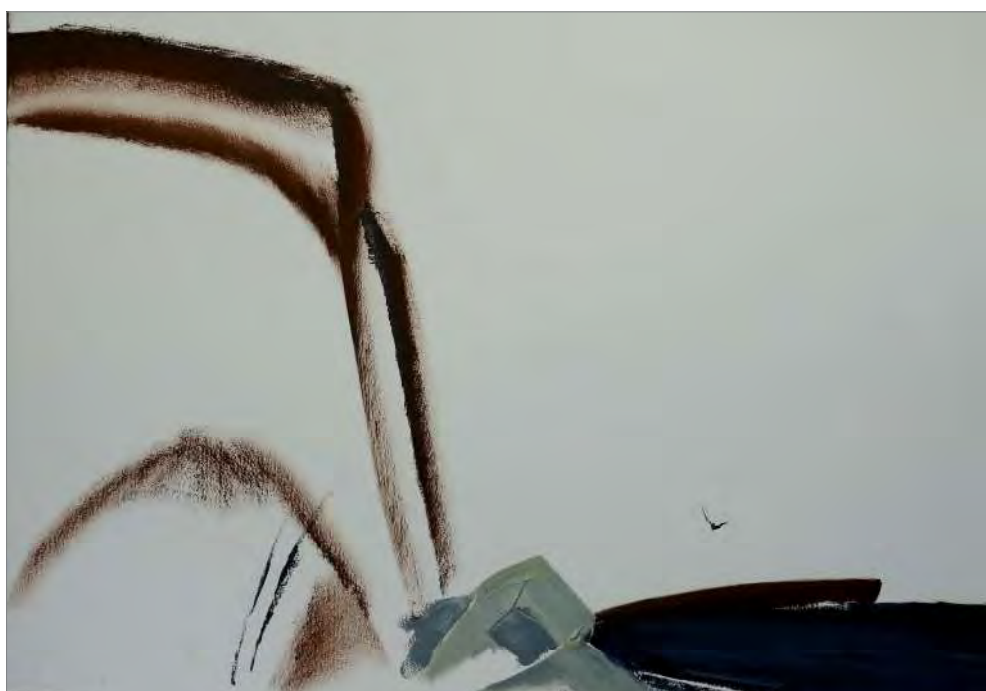
Московский художник Вера Колганова — выпускница Строгановки.
Дочь Владимира Дмитриевича Колганова (1923–2014), ученица Александра Павловича Жданова (1938–2006). Член Союза художников России. График.
Также работает в технике художественного текстиля



Памяти Александра Жданова. 2017.
Бумага, акрил

Из серии «Крымские пейзажи». 2021.*Бумага, масло*

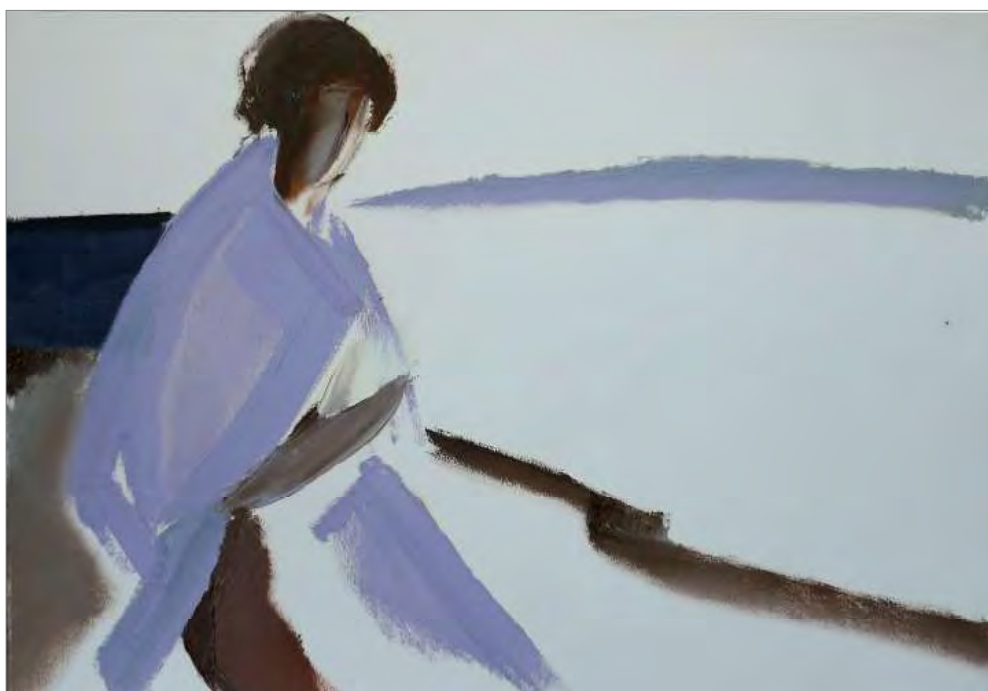
Священное дерево



Крым



Деревья



Автопортрет

Из серии «Край воды». 2023.*Холст, масло*

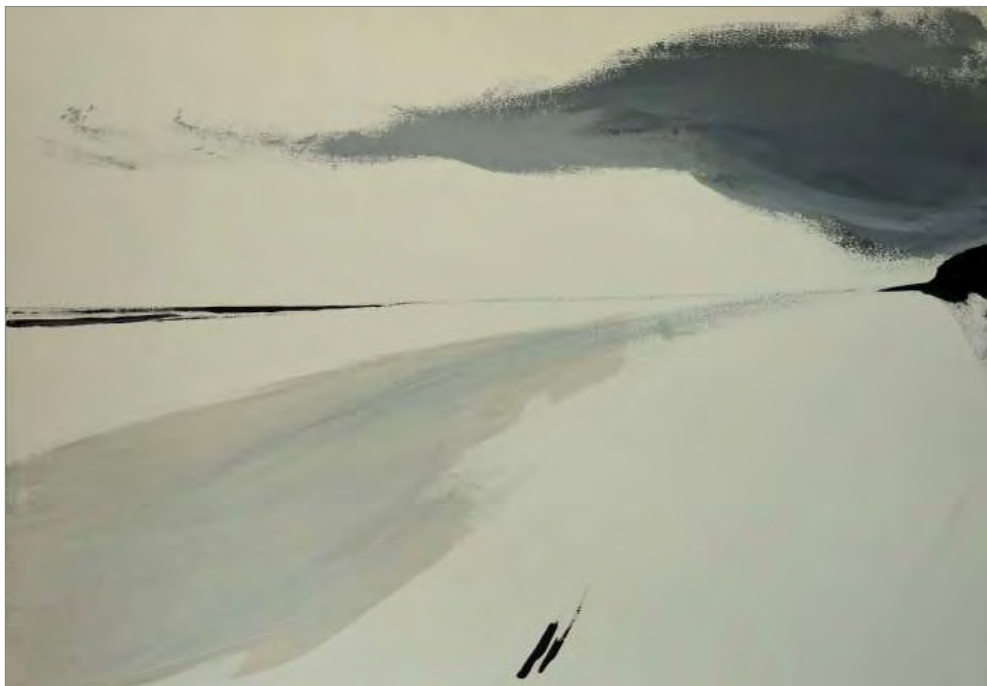


Из серии «Куршская коса». 2018.*Бумага, акрил*

Куршский залив



Чайки



Туча



Дюна Эфа



Камень



Зима на Куршской косе. Холст, масло

Надежда Келарева

«Пришла зима красивая...»

Когда я думаю о первом стихотворении, я вижу себя как будто со стороны. Вот моя мама, учительница русского и литературы, читает электронное письмо от бывшей ученицы. Оказывается, там стихи. Но я пока что этого не знаю. Я, восьмилетняя, сижу рядом и, кажется, скучаю. «Надя, послушай-ка, что мне прислала Олеся!» — говорит мама и начинает читать вслух. Тут-то и происходит что-то важное. Не помню, о чем были те строки. Но как только мама замолкает, я несусь в свою комнату...

А возвращаюсь уже с первым стихотворением:

* * *

Пришла зима красивая,
И осень златогривая пошла в нору свою.
Пришла зима гремучая большою снежной тучею,
Покрыла серебром дома,
Покрыла снегом города,
Позвала тётушку метель,
И стало весело теперь!

Еще тогда меня смущало неверное ударение в слове «позвала». Но потом я решила, что это поэтическое допущение ради ритма, и раз другие поэты так делают, то и мне разрешено.

Сейчас, вспоминая тот день, я задаюсь вопросом, что именно меня настолько поразило: само стихотворение маминой ученицы или то, что обычный человек (не гений XIX века) тоже может быть поэтом?

А вообще, скорее всего, на этом бы все и завершилось, если бы не бабушка. Узнав о том, что я что-то сочинила, она подарила мне особенную тетрадь — только для стихов. И мы часами придумывали рифмы, дописывая вместе то, что в одиночку я закончить не могла. Тетрадка эта еще жива, я храню ее дома, в Онеге.

Келарева Надежда — родилась в 1998 году в городе Онеге (Архангельская область). Окончила Санкт-Петербургский государственный университет. Печаталась в журналах «Интерпоэзия», «Звезда» и др. Участница проектов АСПИР. Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 11.

Григорий Князев

Азарт

Я начал сочинять тексты в четыре с половиной года, ещё до того, как научился читать. Это был вольный, своеобразный пересказ того, что мне читали родители на ночь. Например, такое:

Мальчик-мущина

Жил-был муж с женой они были бедняки жили они плохо детей у них не было однажды утром на зоре жина радила ренка ребенок был маленький ростом во всю руку он рос и рос ему уже было пять дней а он рос и рос ему было сем лет ево уже учили шетать потом читать и писать

Один раз муж пошел покупать еду еду он пошел покупать еду опельсины яблоки и бананы а жена пустила ребенка гулять а ему было двадцать лет и он пошел жиница он выбрал себе жену в жоны он шяслево а те муж с женой довно умерли и мы зажево зажили дружно и хорошо

Я там был и пива пил а в рот не попало.

Позднее эти тексты стали предметом исследования ученых-онтолингвистов, занимающихся проблемами детской речи. В частности, их анализировал и мой папа, выдающийся человек и лингвист Юрий Павлович Князев (1948—2023).

Первое же стиховое волнение, такой поэтический трепет у меня возник в 11 лет в Пушкиногор, куда меня папа взял с собой на одну из конференций по языкознанию. Это случилось, как сейчас помню, на могиле Пушкина. Мне казалось, что Пушкин жив, если мне его стихи и сказки читают дома, а тут я стою у надгробия, и у меня в голове произошёл какой-то когнитивный диссонанс.

Примерно в это же время я пошёл заниматься к моему любимому учителю русского языка и литературы Татьяне Михайловне Рябчиковой на факультатив по русской словесности. И она мне дала творческое задание: написать стихотворение на тему. Так в двенадцать лет я написал первое в жизни шуточное стихо:

Князев Григорий Юрьевич — поэт, филолог. Родился в 1990 году в Великом Новгороде. Окончил филологический факультет Новгородского государственного университета. Публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Звезда» и др. Автор семи поэтических сборников, в том числе — «Живые буквы» (2022). Лауреат нескольких литературных премий. Участник мастерской АСПИР для молодых писателей в Великом Новгороде (2023). Живет в Великом Новгороде.

Азарт

Азартность дарит нам дорогу...
И бодрый дух, но всё ж — тревогу.
«Азарт?.. Ну, это пустяки, —
Сказали как-то рыбаки. —
Мы удочки скорей берём,
Ведь на рыбалку же идём!»
Азарт и в спорте мы встречаем,
Когда нам говорят: «На старт!» —
Когда оценки получаем,
Ведь в этом тоже есть азарт.
Но есть ещё плохой азарт,
Когда не могут жить без карт...
Сердцебиенье, нетерпенье, удивленье и волненье
Азарт дарует на мгновенье!..

Но первое трагическое стихотворение, от которого я по-настоящему веду отсчёт своим стихам, я написал не в школе, а в психиатрической больнице в состоянии острого психоза в семнадцать лет (в 2007 году). Медсёстры разрешали мне писать стихи по ночам в общей комнате. Благодаря этому меня вскоре перевели в отделение арт-терапии. Таким образом я быстро пошёл на поправку.

Вот это больничное стихотворение:

Три царства

В царстве сумрачных теней
Ночь не ночь и день не день.
Всё печальней и темней
В царстве привидений.

В царстве голых королей
День как ночь и ночь как день.
Всё просторней и светлей
В царстве сновидений.

В царстве ангельских детей
Ночь как ночь и день как день.
Всё правдивей и страшней
И обыкновенней.

Николай Александров

Закрытость правды

Усталость формы, наверное, в особенности чувствуется тогда, когда сам пишущий вольно или невольно осознает это и пытается всё-таки как-нибудь влить молодое вино в старые мехи, избавиться от давления и тесноты накопившихся в традиции текстов, освободиться от тяжести жанра.

Роман сегодня в большинстве случаев подобен разгуливающему по улицам динозавру. Его древность — очевидна, но в то же время привычна и обыденна. Он по-прежнему популярен и любим, его с удовольствием разглядывают, тем более что пород у него много. Хотя доминирует, конечно, классический стиль, с узнаваемыми статьёй и поведками. Если развивать это сравнение, получилась бы довольно забавная типология романских жанров.

Леонид Юзефович — историк. Или писатель с выучкой и взглядом историка. И это чувствуется в ткани всех его романов, что ни коим образом нельзя отнести к недостаткам. Напротив, выверенная и точная описательная и собственно историческая часть в его произведениях — безусловное достоинство. «Поход на Бар-Хото» не исключение.

Название говорит само за себя, и, кстати, уже само отсылает более к истории, а не к литературе (ну, или к литературе, которая теснейшим образом с историей связана, даже если оставить в стороне исследования и мемуары). И эта историческая часть легко изымается из тела романа. Она вполне самостоятельна, хотя и важна для сюжета.

Речь идет о взятии одной из крепостей, когда в начале прошлого века Монголия боролась за независимость и уходила от китайской экспансии. И здесь проявляется еще одна характерная метка, даже, если угодно, фирменный знак Юзефовича: Монголия, с ее дышащим степной древностью колоритом, давняя любовь его.

Историческая и этнографическая экзотика помещены в романную матрицу, причем ее жанровая специфика объясняется в самом начале: «Записки Б.А.Солодовникова обнаружены нами в фондах Института восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге, в личном архиве выдающегося тибетолога и монголиста Г.Н.Адамского (1887–1960). Рукопись занимает две общих тетради, одна из которых исписана до последнего листа, вторая — на три четверти».

Литературный прием столь расхожий, что даже указывать на многочисленные его образцы не имеет смысла. Единственное только, что стоит иметь в виду: перед нами, если прибегнуть к хрестоматийным сравнениям, скорее «Капитанская дочка», нежели «История пугачёвского бунта». Хотя сравнения и апелляции к текстам могут быть какими угодно и далеко уходить в эпическую традицию, вплоть до «Илиады» Гомера.

Трудно сказать, выиграл или проиграл бы текст, если бы Юзефович отказался от художественности чисто литературной (записок Петра Гринёва), а избрал бы объективность пушкинского исторического трактата. Хотя в самом тексте романа можно найти этому объяснение: «Реальные исторические фигуры и события соседствуют у Солодовникова с такими, чья достоверность не подтверждается документами и свидетельствами

Леонид Юзефович. Поход на Бар-Хото: Роман. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2023.

современников, а существующие и поныне географические объекты и даже целые этносы — с никогда не существовавшими или загадочным образом исчезнувшими после того, как автор имел с ними дело. Это позволяет считать, что перед нами не собственно мемуары, а так называемая автобиографическая проза, по условиям жанра допускающая вымысел не только как декоративный узор на суровой ткани повествования о подлинных фактах. Обольщаться не стоит: мы имеем дело не то чтобы с полностью выдуманной, но построенной авторским воображением или им же преображенной реальностью».

Уже собственно в тексте Записок Солодовникова есть и еще один знаковый пассаж. Речь идет о книге французского путешественника Анри Брюссона: «Как настоящий ученый, Брюссон избегал говорить о цене, заплаченной им за добытые для науки факты, но можно было понять, что платой стали сотни верст пути по диким хребтам Мацзюньшаня, песчаные бури в Гоби, разбойники, вши, галлюцинации, необходимость утолять жажду тошнотворной, жирно-соленой водой блуждающих озер <...> А через три года, уже в Петрограде, я узнал, что Брюссон никогда не бывал не только в Гоби, но и в доступной даже обычным туристам Халхе».

Одно из характерных разочарований героя в его опыте постижения реальности. Но примечательны дальнейшие размышления, то есть уже после того, как открылась правда: «Я ничего о нем не знаю — и не понимаю, кто, в сущности, он был такой. Мечтатель в сатиновых канцелярских нарукавниках? Дерзкий мистификатор? Банальный жулик? Впрочем, не всё ли равно? В любом случае ему удалось то, что для меня с моими писательскими потугами осталось недостижимым, — на кончике его пера возник целый мир, в котором человек может жить, быть счастливым и даже находить себе примеры для подражания. Не в этом ли состоит цель каждого пишущего?»

Здесь примечательно всё: и указание на главную цель художественной прозы — создание миров; и подчеркивание закрытости, условности исторической (биографической) правды.

Забегая вперед, можно сказать: по Юзефовичу, объективность в описании событий вообще невозможна. И это одна из ключевых основ произведения в целом.

Записки Бориса Солодовникова не прямое свидетельство. Пишутся они уже в советскую эпоху (спустя примерно двадцать лет после монгольских событий). Автор находится в ссылке, в Бурятии. В Монголии он был военным советником, в Первую мировую войну служил штабным офицером, был ранен, дослужился до подполковника. О его судьбе во время революции и послереволюционных событий ничего не говорится, но понятно, что уже сам чин офицера царской армии при советской власти — достаточный повод для ссылки, это уж как минимум.

Жизни Солодовникова в Бурятии отведена меньшая часть романа. Она имеет скорее вспомогательный характер — возвращение к прежним персонажам (прояснение их судьбы) и объяснение, каким образом вообще сохранилась рукопись.

В классическом романе главный герой, его судьба (а следовательно, характер) — инструмент описания законов мироздания в целом, то есть той художественной реальности, которую выстраивает автор. Так и у Юзефовича.

Борис Солодовников оказался в Монголии вот по каким причинам: «Когда мы с женой расстались (у Солодовникова было две жены, ни об одной из них сколько-нибудь пространных сведений нет, мы даже имен их не знаем, в отличие от двух его возлюбленных, принимающих активное участие в развитии действия. — *Н.А.*), мне захотелось убедить ее и себя, что сам по себе я тоже чего-нибудь стою — вот первая причина, побудившая меня подать этот рапорт. Вторая уходила корнями в переживаемый мной после расставания с женой кризис. Избавившись от семейных дразг, в придачу к душевному покою я обрел массу свободного времени — и на четвертом десятке задумался о своих идейных ориентирах. Идеи правят миром, мне пора было выбрать подданство и получить паспорт. Дух Запада с его удушающей пошлостью, властью капитала, газетного листа и избирательной урны никогда меня не прельщал, русское направление отталкивало своей казенщиной и тем, что к нему тяготела жена, марксизм казался пародией

на христианство, которое и само-то не способно служить современному человеку опорой мировоззрения; в итоге я сблизился с кружком молодых мужчин и женщин, веривших, что свет — с Востока, что буддизм — религия будущего, что в глубине Азии бьют источники первозданного житнетворчества, в Европе давно заваленные мусором. Я надеялся их отыскать и выверить по ним стрелку моего духовного компаса...»

Замечу в скобках, отчасти забегая вперед, что для офицера на четвертом десятке Борис Солодовников, каким он выведен в романе, выглядит уж слишком инфантильно. Но не это главное.

В буддизме, разумеется, Солодовников тоже быстро разочаровался. Реальность сильно расходилась с романтическим энтузиазмом и книжными представлениями. На поверку все оказалось гораздо приземленнее.

И вот это главное, что бросается в глаза в характере героя: ярко выраженный скептицизм, подспудное убеждение в том, что поиск основы (объективной тем более) невозможен. В мире нет ничего, на что можно было бы с уверенностью опереться. С холодным вниманием рассмотренная жизнь приводит к выводу, что ничего безусловного нет.

Все последующее развитие сюжета состоит в разрушении первоначальных представлений героя о реальности, его субъективного взгляда, выражается в глобальном «всё не так, как кажется», в столкновении различных точек зрения и концепций, в удивленном открытии своих ошибок и правды другого и других.

Поход на Бар-Хото оказывается яркой иллюстрацией этого хаоса несоответствий, разных психологических, социальных, религиозных, политических причин и мотивов, которые могут объяснять происходящие события, их причинно-следственные связи. И установить достоверность здесь практически невозможно.

Так, например, мы не можем понять, чем руководствовался монгольский духовный лидер Зундуй-гелун, шаман, «астролог, прорицатель и гадатель по бараньим лопаткам», сыгравший столь важную роль во взятии крепости и столь страшную в расправе над пленными. Древняя ли традиция говорила в нем, или идеи, вычитанные из «Воли к власти»

Ницше. Мы не знаем, почему он ходил босиком: то ли из буддийско-языческих суеверий, то ли потому, что, по совету знакомого лекаря, пытался таким образом избавиться от грибка на ступнях. Мы даже не знаем, как он скончался: в почете и славе — или от удара ножом при споре с уголовником.

Но речь идет не только об истории и неспособности однозначно понять и объяснить факты, слухи отделить от достоверности, правду от лжи. Хаос и заблуждения субъективности вторгаются в личную жизнь героя. Он не видит, что руководит действиями других, даже близких людей. Он многое принимает на веру и с наивным удивлением осознает свои промахи. Он не понимает своей возлюбленной Лины, ее отношений с мужем, с бывшими и нынешними друзьями, безосновательно облачая ее в одежды возвышенного чувства.

Каждый шаг в романе сопровождается тезисом: может быть, так, но вполне вероятно, что совершенно иначе. И в этом виден уже не трезвый скептицизм, не противостояние романтизма и реализма и проч., но гораздо более печальная концепция. Бессмысленно искать безусловность. Правда постоянно ускользает и прячется. Чем больше фактов узнает человек, к какой бы сфере — исторической, социальной, личной — они не относились, тем глубже он опускается в серую мглу и хаос неопределенности.

Мы ничего не узнаем о жизни героя после завершения Записок, что с ним происходило дальше и как он закончил свои дни. Это вполне символично. У Солодовникова просто нет судьбы, как нет мировоззрения, кроме меланхоличного приятия кружащегося вокруг хаоса, в котором почти невозможно найти смысл.

Любопытные факты, разнообразная сверкающая экзотика (природная, историческая, этнографическая). Такой блестящий, кружащийся и совершенно непонятный хаос.

Это даже не отчаяние, а просто пассивная, обреченная констатация безвыходности, безысходности, где от изречения «всё может быть и всякое может случиться» один шаг до пессимистичного «ничего нет и смысла искать не стоит».

Ольга Девш

Слово из тысячи

Объёмные на фоне остальных заметок наблюдения социальной тематики и о политике едко вскользь — это юнгеровское.

Одностийшия, метафоро-мысли, тезис-образы о природе и ее космосе, о макросе людей, вере их и без них — целановское.

Силлогистические размышления о болезненности человеческой жизни, бессоннице — чорановское.

Откровенное о сексе и телесном — лимоновское.

О депрессионном, суицидальном — мисимовское.

Про маму, бабушку и «своих мертвых», про дачу — чанцевское. С вкраплениями всех вышеперечисленных.

В прозе Александра Чанцева есть практически всё, что она знает. Да, она, я не опечталась. Она — душа лирического героя тире автора. Каким бы ни был зажиточным ум писателя, без души пишется плохо, мертво. Чанцев пишет хорошо, живыми «Духами для роботов и манекенов».

И сначала я подумала, что в названии не о парфюмах, а про духов для бездушных созданий говорится. Игра ударений, так сказать. Но книга опровергла мое предположение. Запах для Чанцева равноценен музыке. Не отменим, как чтение. Запах — это любовь. Тут даже Зюскинда не нужно трогать: природа распорядилась так, что пару божьи твари находят обонянием, чутьем то бишь — чуешь

или не чуешь подходящие феромоны, терпишь или воротит тебя от духа его/ее подмышек и паха. Тело волнами источает аромат, как музыкальный инструмент — мелодию. Разные мелодии: «Тело гниет. Сполна выполнив, по идее природы, свои репродуктивные функции, к пятому десятку — разваливаешься, вечно без сил, вечно у врачей. Где у других косметика над раковиной, лекарства. Хотя и косметикой рихтовать лицо надо. Даже изменился запах: младенцы действительно благоухают, а старики смердят. Провонял, как старец». За физиологией (маленькие дети сладко-чистые, потому что не ели еще вредной пищи на протяжении многих десятков лет, не курили, не употребляли алкоголь и не поддерживали лекарствами изношенную оболочку) прячется потребность в любви. Гренуй из-за нее убивал девушек. Чанцев говорит, что из-за нее обычный человек ничего не делает и умирает. Медленно и противно. Помимо того, что и так ведет жизнь к смерти, согласно заданному алгоритму.

«Воздух тут пахнет музыкой». Чанцев не пишет о поэзии как критик, он ее пишет как прозаик. По сравнению с «Жёлтым Ангусом» новые тексты, составляющие «Духи для роботов и манекенов», за исключением «Сказок», «Юнака» и «Фармакона», приближены к стихопрозе порой до слияния. Автор послесловия доцент филологического факультета Белградского университета, переводчик Василиса Шливар называет прозу Александра Чанцева фрактальной, а у меня ассоциация с мозаикой. Непростой, хитро скомбинированной с тетрисом и антистресс-игрушкой Zuma: мало того что всего невероятно

Александр Чанцев. Духи для роботов и манекенов: [сборник рассказов] / Александр Чанцев. — М.; СПб.: «Т8 Издательские Технологии» / «Пальмира», 2023. — 279 с. — (Серия «Пальмира — проза»).

густо насыпано, еще и поставлено в строго заслуженном месте, и оттого, что круги изо рта лягушки как выходят, так и заходят туда же, находясь в постоянном движении, наслаиваясь друг на друга, представляя при этом единую цепочку из разноцветных шариков, попасть в заведенную последовательность, сохранить ритм и узор способен лишь тот, кто всё придумал. Видимая «кусочность» письма обманчива. Это как волосы. Из отдельных волосинок — копна. Практически во всех лоскутных ноктюрн-текстах оговариваются определенные темы: память, запах, одиночество, бессонница и сны (в отзеркаленной зависимости, ибо сны не приносят облегчения, утяжеляют тем, что помнятся), смерть и болезненность жизни, ненасытность социума, Чанцев. Герой-автор компилирует автофикшн, травмоговорение, критику, афористику, философские дискурсы, оммажи цитат в плетеную хронику своего мироощущения. Раз даты не поставлены — не дневник. Для дневника чересчур раскочан маятник. Быстр настолько, что будто неподвижен. Иллюзия остановки времени. Поиск причины в депрессии, в смерти близких, в детском страхе одного-дома и остро-подростковом желании быть балуемым просто так, потому что ты есть, но дискомфорт от понимания, что пустыня знает об оазисе всю подноготную. Она в курсе, что это мираж. Тот случай, когда обманываться не рад, а коробка уже нарисована, и барашек туда помещен наверняка. Проверишь? Скорей поверишь. Кстати, в «Сказках на ночь» Чанцев перепрошил дух Сент-Экзюпери, облегчив летательный аппарат мысли до «персонажной» метафоры, *magic soul*. Это или сказки, или притчи, или... это микрописьма

Принца? Роз. И лилий. Лисьи памятки: «Старые люди тоже играют в прятки. Они умирают. Чтобы встретиться с теми, кто спрятался от них еще раньше». Полифоничный автор-герой почти биоробот — из клеток-икринок прочитанных им людей и книг. Механика его письма похожа на работу стрелок, останавливающихся на больших и малых зарубках. Удивительно, что когда кусаешь себя, то след напоминает циферблат. Впрочем, на других то же самое, с той лишь разницей, что показывает не твой прикус, а их кожи упругость. Несовпадение времен нарушает целостность высказывания, а если пытаться спасать, то палимпсест оборачивается гобеленом.

В сборнике критики Александра Чанцева «Ижицы на сюртуке из снов» в завершающей фолиант реплике (в рамках опроса журнала *Rara Avis* по итогам 2019 года) такие финальные строчки: «Нужно, возможно, вообще признать себя побежденными — это продуктивно в психологическом плане. “Быть никем” — гениальное название романа Л.Улицкой о служении пастора, ставшем потом “Даниэлем Штайном, переводчиком”. И работать. Очень и очень много, до тошноты. Не ругаться, не ссориться, никому не пытаться ничего доказать — только самим себе. Затаиться даже. “Помалкивай, лукавь и ускользай”, как хитрый и мудрый ирландец в изгнании Джойс. Банально? А если попробовать? Ведь свобода действительно в служении».

Представляете, как глубоко?

Творчество Чанцева и есть служение. Прозе особенно достается его нести. И крест никак не обуза — труд и смирение. Животворящее молчание родит Слово из тысячи слов.

Ольга Истомина

Есть только прошлое

Город-сад. Город-озеро. Город-ветер. Город-остров. Город-кладбище. Всё это — Валсарб. Или — Браслав, маленький городок в Беларуси. И, как вскоре становится понятно, название родилось из любимой игры главной героини романа в перевёртыши. Глазами — и словами — девочки, голосом которой рассказана эта история, читатель видит город, его прошлое и настоящее, в котором есть место не только ныне живущим, но и «бывшим» людям: «Он скрыт среди озер и жаждет покоя. Пока его не трогают, он спит. Или притворяется спящим. Может показаться, что у него расстройство памяти, но он всё помнит, только напоказ не выставляет».

Как выясняется, у Валсарба много тайн, которые скрыты от памяти его жителей. В эти тайны, кажется, сам город посвящает только одну маленькую девочку, способную увидеть и услышать, почувствовать его историю по-настоящему. Почему таким проводником между прошлым и настоящим, а может быть и будущим, становится именно она? Дело здесь, кажется, не столько в ее избранности, сколько в чуткости и восприимчивости, которое обострено у ребенка, осознающего свое одиночество в мире взрослых и ровесников. Осознающего невозможность приспособиться, приладиться к окружающему миру и это одиночество преодолеть.

Пусть взросления, который проходит девочка, сталкиваясь с непониманием со стороны учителей и недоверием близких, насмешками одноклассников и первыми большими потерями, сегодня является одной из частых тем, к которым обращаются писатели. Литературный критик Константин Мильчин в одном из выпусков передачи «Книги по назначению» на радио «Культура» сказал

о романе Хелены Побяржиной: «...всё это крайне мило и местами даже симпатично написано, но напрочь лишено смысла. Эта книга написана ровно потому, что такие книги про детство от лица девочек или мальчиков, но в основном, конечно, девочек, про взросление ребенка с большим количеством элементов волшебного пишутся постоянно, регулярно и, кажется, пользуются популярностью».

Однако с этим утверждением всё-таки хочется поспорить. Чем «Валсарб» Хелены Побяржиной отличается от ряда книг о взрослении, в которых одиночество ребенка выходит на первый план? В отличие от многих книг такого сюжетного плана, в большом количестве издающихся, например, в издательстве «Самокат» (с увлекательными сюжетами, интересными героями и трогательными моментами), этот роман своей формой, интонациями и подтекстами обращен к взрослому читателю, а не к подростку. Это роман-воспоминание, где сильны лирические и порой ностальгические интонации, возвращающие читателя в собственное (счастливое или несчастливое, но всегда полное важных событий, отношений и смыслов) детство.

При этом есть, конечно, и размышления, которые кочуют из одного романа взросления в другой: о непонимании самых близких людей, болезненном переживании подростком недоверия и невозможности соответствовать ожиданиям взрослых: «Иногда мама смотрит на меня так, будто видит впервые. У меня не получается ни быть, как все, ни притворяться, что я как все, вот в чем дело».

От одиночества ребенка спасают книги, именно с ними она проводит большую часть времени вне школы. Размышляя о своем одиночестве, героиня воображает себя не кем-нибудь, а Козеттой. Видимо, прочитав

Хелена Побяржина. Валсарб: Роман. — М.: Альпина нон-фикшн, 2023.

тоненькие детские книжки про Гавроша и Козетту, она мечтает прочесть «Отверженных» Виктора Гюго целиком, но ее мама считает, что дочка еще не доросла до такой взрослой литературы и ничего не поймет. Ожидаемая и типичная реакция подрастающего ребенка: «Можно подумать, она знает, что я в состоянии понять, а что — нет».

Но темой взросления и одиночества роман Хелены Поляржиной вовсе не ограничивается. Одним из ключевых мотивов романа становится время и память о прошлом. Девочка не просто чутка и восприимчива к жизни. Она видит больше, чем могут распознать глаза обычного человека: к ней являются «бывшие люди» — те, что жили здесь когда-то и о которых забыли. Память о них не увековечена на надгробных плитах, памятниках или досках. Поэтому они приходят как тени в ее дом и видятся у городского мемориала, а во снах рассказывают ей свои истории и называют свои имена — чтобы напомнить о себе и вписать свои имена в историю через память хотя бы одного живого человека.

Постепенно из историй этих героев из прошлого становится понятно, что практически все они — жертвы холокоста, рассказывающие о событиях, происходивших во время оккупации немцами белорусских земель. Среди звучащих голосов — и дети, и женщины, и сохраняющие мужество отцы семейства. Их истории обрываются на полуслове, но сохраняется главное — память о живших и погибших в этих краях. «Валсарб — это город-кладбище. Здесь чувствуешь мертвых под ногами», — таким иногда ощущает свой город девочка.

Кроме неизвестных, до поры безымянных жертв истории, в снах появляется, например, ее прабабушка Казимира: «Когда ты долго не разглядываешь мои чёрно-белые фотокарточки, я прихожу в твои цветные сны. Не думаю, что могу объяснить, зачем мне это. Может, для того, чтобы ты знала, что, когда мои глаза видели, они были голубые. Такие же, как твои».

Эта способность девочки услышать своих предков указывает на ее особую, тесную связь с родом. Она не только в том, что прабабушка является в ее сны, но и в том, как тонко она воспринимает все, что связано с прошлым: как дороги ей старый дом и вещи, хранящиеся в нем. В них — та же память о минувшем и обо всех ушедших, которые на самом деле живут

рядом: «Ума не приложу, когда я успела проникнуться уходящей натурой, но знаю, что дом из красного кирпича нравился мне больше».

Чуткость и восприимчивость у героини не только к прошлому и к окружающему миру, но и к тому, чему нет названий и определений. Девочка еще пока со всей детской наивностью верит в Пана Бога, который живет в костёле. На занятия в костёл ее водит Дед — еще один самый настоящий Пан Бог для нее. Для этого ритуала он облачается в выходной костюм и с гордостью ведет свою внучку за руку по улицам Валсарба. В другие дни Дед может отправиться с ней в лес или в путешествие в местечко Заборные Гумна на мотоцикле с коляской, или просто до магазина, чтобы купить рыжий кирпичик хлеба и яблочное повидло для внучки.

Именно Дед был тем человеком, который верил в эту маленькую девочку и не скупился на проявление любви и заботы. Память о них будет давать силы жить в самые трудные времена. Неожиданно эпизоды романа, связанные с воспоминаниями о самых счастливых днях детства в доме Деда и «большой, пышной, как ватрушка с творогом» Бабы (а вовсе не родителей, которым было не до неё), вызывают ассоциации с популярной книгой для подростков норвежской писательницы Марии Парр «Вафельное сердце». И хотя эта подростковая история — приключенческая, теплая и светлая, те же интонации и даже сюжетные переклички возникают в тексте Хелены Поляржиной: дедушка так же лихо ездит на мотоцикле с коляской, а тёплая необъятная Баба напоминает Бабу-тётью, которая пекла домашние вафли (а здесь бабушка печёт кокору — картофельный пирог с луком).

Память о тех, кто подарил так много любви и заботы, становится убежищем от бед и невзгод, в котором можно хотя бы мысленно почувствовать себя в безопасности, под защитой Пана Бога Деда, который верит в тебя, несмотря ни на что: «Ты есть во всех моих воспоминаниях. Благодаря твоей тринадцатилетней любви я такая сильная, что никогда не сойду с ума. Даже сейчас, когда можно бы. Но я просто сижу и сочиняю слова на Д: дерево, дерматин, день, декабрист, декорация, дерзость, детство. Дед».

Хелена Поляржина — не только прозаик, но поэт и переводчик. Поэтому

неудивительно, что язык романа так поэтичен, и именно он погружает в ткань текста, предлагая прислушиваться к нему, присматриваться, играть в филологические игры и разгадывать литературоведческие загадки. Один из главных способов главной героини справляться с неуютом окружающего мира — уйти от реальности в словесные игры в перевёртыши: «Быстро и качественно отвлекаться от всяких печальных дум помогают слова-перевёртыши. Иногда слово, прочитанное наоборот, противоположно по значению основному слову, иногда дополняет его. Куртка — акт рук, кожа — ажок, дорога — агород, чемодан — надо меч».

Игра захватывает и читателя, так что на протяжении всего романа ждешь новых открытий и невольно начинаешь и сам «переворачивать» попадающиеся слова.

«В аду — удав, восторг — грот сов, завиток — кот и ваз, парк — крап, великая — я аки лев. От них клонит в сон. Сон — нос, летаргия — я игра тел».

Ещё девочка любит разглядывать ковер в доме бабушки и дедушки, находя на нём изображения животных и других персонажей, и читать описания цветов в справочнике. А самая любимая её «игра» — сочинять стихи. Именно поэзия станет ключом к разгадке личности одного из «бывших людей», которые прячутся по углам дома и подстерегают её на улице. Правда, этот герой — совсем молодой, почти мальчик, вовсе не пугает её, а становится лучшим другом. Сегодня сказали бы, что он — её «воображаемый друг». Но в сознании поэта реальность и воображение настолько переплетаются, что их сложно бывает разделить.

Автор незаметно разбрасывает в тексте намеки и подсказки, не настолько явно, чтобы сразу их разгадать. Но особо внимательный — и начитанный — читатель, скорее всего, сможет догадаться о том, кто же оказался так близок по духу этой маленькой девочке.

«Я умер знойным июльским днем тысяча девятьсот сорок четвертого года, спустя девятнадцать с половиной лет после рождения».

Или: «...Окончательно потеряла покой и сон, встретив на страницах детского журнала настоящую поэзию и рассказ о двух сестрах, живших в начале столетия в Москве. Одна из них вела дневник и записывала события своей жизни в мельчайших подробностях, вторая писала эти самые строки».

Или: «...Близ деревни Друйка на фоне голых ветвей под снегом стоит обелиск над могилой...»

А вот и несколько строк из стихотворения любимого поэта девочки:

Есть чёрный тополь, и в окне — свет,
И звон на башне, и в руке — цвет,
И шаг вот этот — никому — вслед,
И тень вот эта, а меня — нет.

Наконец, в книжном магазине Валсарба, в книге воспоминаний сестры любимого поэта героиня находит фотографию юноши, который является ей. Конечно, это не кто иной как сын Марины Цветаевой Георгий Эфрон, которого в семье ласково называли Мур. Известно, что Георгия Эфрона призвали в армию в годы Великой Отечественной войны, и в июле 1944 года он был ранен в бою под Друйкой, после чего отправлен в полевой медсанбат. Точная дата и место его смерти неизвестны, но считается, что останки захоронены в братской могиле в Браславе. Неожданная — а для кого-то из читателей, вполне возможно, и давно понятная — разгадка того, кто же из «бывших людей» так полюбился героине, историю которой читаешь, открывает в романе еще одно измерение — диалог с судьбой Марины Цветаевой, ее семьи и всей страны.

Неслучайно текст кажется таким поэтичным и тонким, словно кружево: не только автор романа, но и сама героиня, чьими глазами мы воссоздаем мир Валсарба, — поэт. Состоявшийся и обретший свой голос, несмотря на неверие и непонимание окружающих.

По-другому вдруг начинают звучать слова, которым можно было не придавать особого значения: мол, всего лишь фантазии ребенка с богатым воображением. «А я погибла на войне. И тоже была мужчиной. Только молодым», — так неожиданно отвечает внучка Деду, когда он показывает ей старую фотографию своего отца, вернувшегося с войны, но прожившего совсем немного...

Роман Хелены Побяржиной — о памяти, которая может быть и как «навязчивый слепень, укуса которого пытаешься избежать», и как спасительные нити, которые связывают прошлое с настоящим, давая надежду на будущее.

Елена Крюкова

Наказание бессмертием

Человек всегда думает о смерти. Даже если не думает, он подспудно, подземно ее чувствует. Каждый день. Каждую минуту и каждую секунду. И, думая о смерти, тем самым он помышляет и о бессмертии — как об альтернативе смерти. Протагонист-жизнь думает об антагонисте-смерти, и этот трагический безусловный Голливуд пропитывает нашу жизнь, как вино — хлеб. И всякая книга о жизни-смерти (главнейший и древнейший архетип культуры и основная тема искусства) — это попытка прикоснуться к бессмертию.

Арсений Гончуков в книге «Доказательство человека» вступил в храбрый диалог с Временем, чтобы предъявить ему свою версию бессмертия и обозначить свое к нему отношение. Именно здесь и сейчас: пока есть еще человек и пока существуют его чувства.

Эмоция — гораздо более древнее явление природы, нежели мысль. Тейяр де Шарден в книге «Феномен человека» пишет об искре психизма внутри камня, внутри геологических напластований. Тейяр де Шарден, как и наш Иван Ефремов, был палеонтологом, такая работа с толщей времён дает человеческой душе право беспрепятственно путешествовать по тем областям знаний и ощущений, в которые мы, в массе своей, не лезем, как в холодную воду, именно потому, что ее, ледяной воды Времени, откровенно боимся.

Мы в будущем не поймем ничего. Оно нас и вправду устрасит. Даже если оно не надвинется на нас водами, дымами и огнями Апокалипсиса и не вспыхнет тотальной ядерной войной.

Арсений Гончуков. Доказательство человека. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2023.

Страшнее такой войны то будущее, которое изображает Арсений Гончуков. Не покупайтесь в книге «Доказательство человека» на то, что в будущем вроде бы всё так, как в нашем настоящем, очень похоже, — ну а что, всё, возможно, и будет так же, как и сейчас, человек любит человека, человек нападает на человека, чтобы его уничтожить, умертвить, человек заботится о своем здоровье, человек отлавливает человека, преступившего закон... Но изменение биологического существа человека повлечет за собой появление киборгов и клонов, а всемерное развитие искусственного интеллекта (его уже сейчас называют ИИ, или совсем уж ласково, как домашнего зверька — Искин...) заставит родиться на свет цифровых людей — родиться, так получается, после смерти, *post mortem*.

Как будут чувствовать себя оцифрованные люди? Что они будут испытывать? Оснастят ли их голосами, чтобы они могли общаться с теми, кого оставили в мире живых... еще живых? О да, конечно, оснастят. Цифра обратится в человеческую речь, чтобы оставленный мог наивно и отчаянно подключиться к иллюзии продолжения жизни. А может, не к иллюзии, а к последней правде?

«— Странность в том, что чувствуешь себя совершенно голым, — он сказал тихо, серьезно.

— Голым? — растерялась она.

— Ну то есть... Голым, в смысле открытым со всех сторон. Но не очень понятно, где ты... Когда ты голый, ты ощущаешь кожей воздух, как-то чувствуешь пространство...

— Как ты красиво говоришь, я так люб... — воскликнула она.

— Да, — оборвал ее и продолжил: — А сейчас я как будто голый, но даже этого я не могу почувствовать. Понимаешь? Как будто заперт в темной комнате.

В безвоздушном и бестактильном помещении, где ничего не могу ощутить, потрогать, увидеть...

— Но ты же слышишь меня!

— Да. Слышу тебя... Слава богу...

Он выговорился и замолчал. Прошла минута.

— Ты здесь? — спросила она<...>».

Оцифровать мозг гражданина имярек. Оцифровать мозг гения: Эйнштейна, Моцарта, Пушкина, Хаббла, Достоевского, Вернадского, Ларса фон Триера. Равна ли будет цифра — Живому? Будет ли цифра мыслить, страдать, жить? «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.../ Но ведаю, мне будут наслаждения/ Средь горестей, забот и треволнения...» — говорит Пушкин, дрожа и улыбаясь, сквозь слезы. Но даже не в этом дело. Уравновесятся ли на чаше ценностных весов человечества две эти вновь зафиксированные внутри хитроумной машины цифры — гения и простого смертного?

А чип, вживленный в мозг маленького ребенка? Младенец больше никогда не вспомнит войну, внутри которой родился. Он будет вспоминать, ощущать лишь красивое, яркое, мирное, милое. Волшебный чип отвернет его от переживания зла и горя.

В романе Станислава Лема «Возвращение со звезд» вернувшиеся на Землю звездолетчики обнаруживают, что из цивилизации исчезла агрессия, и узнают, что новорожденным сразу делают инъекцию изумительного вещества, на генном уровне убивающего злобу, ненависть, насилие... И на планете нет войны, ура! Гончуковские герои смотрят в ту же сторону.

Я оцифрован — я бессмертен! Разве это не чудо?!

А если мне надоест жить? Если я устану жить?

Если я захочу — всё равно, в цифре или в реале! — умереть, каким бы страшным парадоксом это ни звучало?

«— Ну так вот... — Григорий Степанович продолжил разговор, начатый в лифте. — Диплом ты лучше напиши не о проблемах, как ты говоришь... “этики погружения пациентов” в эти, в “экстремальные виртуальные модели”... Это все, конечно, интересно вам, молодым...

— Ну а как? Вы же сами рассказывали, секс, снафф, сафари, казни...

— Да пожалуйста! Реальность заказывают разную, любые прихоти за деньги клиента... Хотя в эпицентре ядерного взрыва. Как только у нас не умирают... И это, конечно, кажется вам крутым... Но! — Он чуть замедлил шаг, посмотрел на Мишу: — Видел только что “кино” в просмотрных очках? Про бабуку, про соседку, огород...

— Видел.

— Ну так вот. Напиши о том, как человек хочет умереть на родном огороде на грядке среди редьки и петрушки да мелиссы вместо лимончика. Вот о чем напиши<...>».

Пока еще, в нашей реальности, в нашей исторической повседневности, машина не может заняться самовоспроизведением. Когда Ивану Ефремову говорили, что машины начнут развиваться и размножаться сами, что человек потеряет контроль над ними, что грянет ужасающее и неостановимое восстание машин, Ефремов улыбался и отвечал: «Машина — дура, подошел и выдернул штепсель из розетки». Да, в середине XX века технологии были таковы. Но прошло почти столетие — и явились сюжеты «Терминатора» и сериалов про киборгов, явился фантастический рассказ, где в таинственном механизме оживляют сознание Пушкина, явился киборг Бишоп из франшизы «Чужой», явилось втягивающее, как воронка, сериальное «Чёрное зеркало»... И вот теперь — книга Арсения Гончукова «Доказательство человека».

Название архиудачное. Человек сам себе доказывает, что он человек. А человек оцифрованный начнет доказывать, что именно он и есть человек, и он тоже живой, и он тоже мыслит, чувствует и страдает! На планете будут существовать две разные цивилизации, две культуры — привычная и чудовищная, и впереди ляжет два пути — как два текста: один о чувствах, слезах и праздниках, другой — о равнодушном скрежете железа.

Но только ли о нем, о железе, рассказ? Может, ИИ научится по-настоящему рыдать и смеяться? И ласково прижимать вновь рожденного ИИ-ребенка к ИИ-груди?

Тогда как быть тому человеку, кого накрепко соединили, сплели с машиной? Кого обрекли на неведомое синтетическое бытие? Нет начала такой жизни. И нет конца. Нить беспрерывно тянется, не порвать. Это намёк на то, что теперь вечное железо будет дирижировать

жизнью, судьбой? Намёк на то, что цифра станет земным хозяином?

«И сейчас вы мне опять скажете: как же так, Кирилл Анатольевич, как же так, а вы сами-то, сами-то кто? А? А? И я вам отвечу: да, конечно, я тоже гибрид. Ну, так запретите! Запретите перенос людей в роботов! Остановите сращивание живых людей и машин! Пока не поздно! Остановите! И казните меня! Посадите на электрический стул! Или выведите вон во двор! Ну! Почему вы этого не делаете? Почти восемьдесят лет мы движемся к неминуемой катастрофе! Да, это чуть дольше, чем я предполагал... Но это не отменяет ужасного финала для всех нас... Точнее, вас, биологических людей! Вы обезумели, люди! Доверять себя машинам! Отдавать свои личности роботам, добровольно... И развивать эту отрасль! Ладно — мы!.. Я! Наши технологии. Мы первые, мы устарели, как мобильные телефоны... Но новые машины! Которые делаете вы сейчас! Они же почти самостоятельные! Вы просто ни черта не знаете, Петров... Что они там разрабатывают в своих виртуальных институтах — и что собирают на совершенно реальных заводах. И к чему уже, может быть, пришли. Это же захват! Самый настоящий. Механизм запущен, бомба тикает. И они доделают! Срастят людей с машинами окончательно! Вы не понимаете? Неужели вы не понимаете?!<...>».

У книги Гончукова есть загадка. Она волнует и пугает. И, разумеется, притягивает. Это образный магнит. И нет, это совсем не из области «ужастиков» и «зубастиков». Такая игра на эмоциональных струнах ушла вместе с временами Хичкока; сейчас и ужас-то и в литературе, и в кино совсем другой. Я для себя обозначила эту загадку так: человечество идет к бессмертию семимильными шагами, но потребно ли оно ему? А дорога уже, вне сомнения, сама о себе заботится. И назад не повернуть. Загадка книги — в теснейшем соединении возможного и неизбежного. Ожидаемого и неожиданного. Сужденного и внезапного. Разделить их нельзя. Но и прочно соединить не получается. Впрочем, таковы традиционные контрасты существования.

Еще не так давно считалось, что в русской литературе существуют три трагических «кита», три массивные ультрарусские темы: война, революция и тюрьма. С войной у Гончукова

все «в порядке». Поствойна в книге изображена в полный рост — то время, которое тот же Ефремов в «Туманности Андромеды» и в «Часе Быка», к примеру, обозначил как время после «Второго великого сражения». Однако ядерный апокалипсис не пожрал всё бесповоротно, и, по сути, автор рисует нам в «Доказательстве человека» традиционный постапокалипсис, который больше похож на «петлю времени» в «Терминаторе» Фрейуса — Вишера — Стаута: фантастические красоты и дива дивные будущего погибли в ядерном огне, а люди, несмотря на торжество воскрешенных технологий, вернулись к привычному быту тысячелетней давности, вот только цифра... Цифра никуда не делась. Более того — она стала тотальным диктантом целокупного бытия.

Не делась никуда цифра, но... никуда не делся и человек. Его боль. Его надежда. Его скорбь. Его любовь, наконец. Нет нужды сейчас цитировать Второе послание к коринфянам апостола Павла, но это (возможно, бессмертное): «Любовь долготерпит, милосердствует, не ищет неправды, но сорадуется истине», — всё равно упрямо просвечивает сквозь прозрачную водную толщу нахлынувшего на многострадальную Землю будущего. Арсений Гончуков имеет смелость работать с Временем. И делает это выпукло, зримо. Жест у Гончукова приобретает весомость. Движение становится символом-знаком. Атмосферу новеллы создает не столько рефлексия раздумий и длинная «олдскульная» живопись ландшафтов-описаний, сколько сжатая в кулак энергетика образа.

Арсений Гончуков работает с художественным образом. А образ этот (что само по себе для писателя — здорово) приобретает окрас мифологичности и достигает уровня архетипа. «Фёдоров думал нестандартно, говорил увлекательно.

— Каждое подобное открытие открывало новую эпоху, прости за тавтологию... И каждому поколению, которое начинало пользоваться плодами этих изобретений, казалось, что новые масштабные открытия невозможны <...> Фёдоров продолжал говорить простые вещи, про которые, кажется, на Земле забыли. Великое изобретение, прорыв в науке — тот же взрыв. И крайне важно в какой-то момент обуздать, ограничить его

разрушительную силу. Что-то взять для повседневной жизни. А что-то запретить». Запретить... Разрешить... Где этика, когда бег Времени ускорен донельзя? Где нравственность, когда будущие люди сами запутались в новых духовных максимах? И как разграничить действующие лица истории, вернее, уже постистории? Где дроиды, где человеки, где настоящая смерть, где дотла сгоревшая флешка?

Меняется ли человек? Или не меняется? Все такие же мы, как во времена египетских пирамид или трёх мушкетеров, или кардинально другие? Знаю философов и культурологов, которые утверждают: мы сейчас абсолютно иные, нежели наши предки — матросы на кораблях Колумба, воины Куликова поля, солдаты Бородинского сражения. И что мы, если бы встретились лицом к лицу (о, столь модное теперь нашествие романов и рассказов о «попаданцах»!...) с нашими прародителями, не поняли бы их совсем. И они бы не поняли нас. Аналогичная ситуация с будущим: оказавшись в веке ином, через тысячу, две, три, пять тысяч лет, мы бы не узнали ни планету, ни людей.

Арсений Гончуков идет другим путем: посмотрите, ребята, и через тысячу лет мы будем всё те же. Всё такие же слабости, всё такие же страсти, всё те же ошибки и заблуждения, всё те же грехи и пороки... Не изменится человек. А цифра?

А цифра — это слабая, дрожащая, трепещущая надежда хоть на миг дистанцироваться от вечного страха смерти и сказать себе: ничего, дружок, не бойся, все твои земные страдания ерунда, ты же будешь вечно жить, ты станешь бессмертен, тебя умело оцифруют, не будет тела, зато ты, ты сам останешься, ибо ты сам не знаешь, кто ты, что ты есть, может быть, ты и есть легендарный Дух, а вот он — и совсем не Божественный, а внутри всеведущей машины, воспроизводящей твой внутренний мир точно, досконально, бесплотно, виртуально, доказательно, благословенно, вечно...

Но Гончуков не только факт констатирует, но и вопросы задает. И сам себе, и читателю, и Богу. Кто такой цифровой человек? Не есть ли он вариация? Виртуальный клон? Возможность «родить» цифрового двойника —

опасность большая, нежели клоны из пластмассовой плоти и химической крови. Реальный человек улетает на космическом корабле, цифровой остается с родными. Кому из них верить? О ком из них беспокоиться, переживать? Кого из них — любить?

И самое страшное: кто, в результате, становится настоящим, нужным любящим его людям — бессмертный двойник или тот смертный, кто улетел к звездам?

А вот самый животрепещущий, болезненный вопрос мы себе задаем, прочитав книгу.

Будет ли у жизни конец? Финальна ли она?

Или, с тотальным приходом цифры, жизнь каждого будет благополучно протянута в бесконечность пространства-времени?

И тут таится реальный ужас. Опять Ефремова вспомним. Такие вопросы ставились фантастами уже в середине двадцатого столетия. Ефремова тоже об этом спрашивали: как дать гению бессмертие? Как вычленив из его живого тела его драгоценную психику и поселить навеки внутри крепости-машины? Ефремов отвечал: может быть, мы запрограммированы на то, чтобы создать наши великие (с учетом того, что человек — гений) произведения внутри сужденной нам жизни. И если эту жизнь виртуально длить, репризно проживать, волей-неволей будешь повторяться. И это — обреченность. Моцарт, в двадцать пятый раз сочиняющий «Реквием»? Эйнштейн, в сотый раз открывающий теорию относительности? Гениальность хранится в геноме, в сплетениях ДНК. И это своеобразная духовная тюрьма. Железная решетка. Древние называли это — судьба. Рок. Ананке. От судьбы не уйдешь. Гениальность — это приговор. Это тяжелый крест. И он один-единственный — в жизни и на всю жизнь.

А если жизни больше нет, а есть нескончаемое бессмертие? И никогда не оборвать нить?

Нить тянется неостановимо. Монотонно. В математике есть такое понятие: дурная бесконечность. Может ли желанное бессмертие — пусть цифровое, нам на формат наплевать, лишь бы не умереть целиком — стать дикой усталостью, вселенской тоской, бесцельным, пугающим Ничем?

Книга Арсения Гончукова «Доказательство человека» — книга

проблемная, не развлекательная, хоть и интересно написаны в ней новеллы, а тяжелая. Никакого «светлого будущего» у Гончукова нет. Да ведь и смерти нет. Однако цифровое бессмертие, стоит закрыть глаза, предстает в призрачных видениях и жестко написанных картинах хуже смерти. «Нет в жизни счастья», — набивали на груди, на запястье ээки XX века. «Нет правды на земле, но правды нет и выше...» Пушкинский Сальери твердил о правде, но перефразируем Сальери. «Нет счастья на земле... но счастья нет и выше...» А что может быть выше любимой Земли и счастья человека на ней? Бог? Идея Бога? Теория Большого Взрыва? Возвращение к сингулярности? И то бессмертие, к которому мы так отчаянно продирались сквозь невероятие всех войн, застенок и революций, сквозь весь радиоактивный пепел и все объятия любви и родильные крики, на деле может оказаться еще одним Божьим наказанием человечества

за все его грехи, не только за тот, древний, библейский, первородный, но за все «хорошее», что человек содеял с планетой и с собой, начиная от гекатомб античности, Варфоломеевской ночи, армянского геноцида, и заканчивая трупами режима Пол Пота, отрезанными, в афганских кампаниях, головами «неверных», и да, теми белыми, высохшими черепами, которыми таежные пацаны в шестидесятые годы играли в футбол — на берегах Яны, Индигирки, Колымы... Человек уничтожает человека! И новые Хиросимы впереди. Об этом пишет Арсений Гончуков. Более того: как режиссёр, он это видит. Он уже срежиссировал будущее, и оно, возможно, мало будет отличаться от им изображённого.

Да, два мира. Две цивилизации. Два пространства: реальное и цифровое.

А Времени? Времени — тоже два?

Или там, у них, у оцифрованных, свое Время?..

Андрей Пермьяков

Ответственное хранение

Начнём с вопроса не самого основного, но неизбежно возникающего при знакомстве с историей и выходными данными альманаха «Александровская слобода»: существует ли критерий, однозначно позволяющий считать издание периодическим? Разумеется, есть случаи очевидные. Например, ежемесячные или ежеквартальные журналы. Даже при некоторых организационных сбоях — выпуск сдвоенных номеров, выпадение отдельных книжек и т.п. — издания такого типа остаются регулярными на протяжении всего жизненного

цикла. А он, к счастью, может оказаться весьма долгим. Альманах выходит реже, но не менее регулярно. Сама этимология названия восходит к понятию «Астрономический календарь». То есть, ежегодник.

Первый номер «Александровской слободы» вышел в 1998 году и сразу же был отмечен журналом «Новый мир», как лучший нестоличный альманах России¹. Тем не менее, следующий выпуск последовал лишь в 2005-м², а третий — в самом конце 2022-го. Мог раньше, но вмешался ковид. Хотя при столь

«Александровская слобода»: Историко-литературное художественное издание. — Александров: Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых, 2022.

¹ Станислав Айдинян. Городской альманах. — «Новый мир», 1999, № 3.

² Станислав Айдинян. Второй городской альманах. — «Новый мир», 2006, № 2.

неспешной иррегулярности год-другой роли не играет. Вроде бы.

К сожалению, на участниках проекта пандемия отразилась весьма серьёзно. На самой первой презентации в городе Александрове было заметно, что издание весьма не юношеское. Это понятно: круг авторов складывался в течение четверти века, а за такое время сложно помолодеть или сохранить себя внешне неизменным. Конечно, сие не беда, но в финале выступления произошёл неимоверно трогательный момент: школьники из театральной студии сделали мини-спектакль на стихи поэтов, ушедших из жизни к моменту выхода номера. Будучи не слишком вовлечён в издательские дела, я решил, что звучали тексты авторов, скончавшихся за всё время подготовки тома — с 2005 года. Но увы: речь шла о тех, кто покинул нас за пару последних лет. В период неожиданного вируса.

Большинство не увидевших собственных публикаций относились, конечно, к старшему поколению, хотя достигли возрастов отнюдь не преклонных. А, например, очень своеобразная жительница города Владимира Светлана Лавренкова покинула нас в возрасте просто молодом. «Полуженщина-полурусалка/полоумная, средних лет»: такая самохарактеристика — не единственное свидетельство разлада с бытом в её стихах, но разлад — не главное. Поэтический голос был уж очень особенным. Хотя про «голос» — банальность банальнейшая, так про любого из авторов можно сказать: и про здравствующих, и про тех, кто стал архивом. Однако трудом создателей альманаха, прежде всего — Евгения Викторова, была достигнута своеобразная общность звучания поэтических подборок. Не хор, а спектакль солистов. Возможно, дело в географическом и поколенческом единстве авторов, но, конечно, не только в нём. Например, присутствуют стихи шестнадцатилетней Ольги Ахсаханян. И публикация не выглядит авансом. Хотя стихов опубликовано совсем немного. Жаль, не вышло в номере хотя бы столь же краткой подборки владимирского жителя Владимира Пучкова, сделавшего в последние годы несколько интересных публикаций в литературных журналах. Но редакторская кухня и авторская воля — сущности загадочные.

Практически все стихотворные материалы номера невелики по объёму. Серьёзное исключение составляет мемориальная публикация Бориса Лейтина, известного в первую очередь как автора переводов Овидия и Шекспира, ставших каноническими. По большому счёту подборка тоже совсем не огромна, но включает стихи очень разных времён: от дореволюционных, до начала семидесятых годов. Собственно, поэт и ушёл из жизни в 1972-м. Здесь, в городе Александрове, на 101-м километре, где поселился в тридцатых, отбыв срок на Соловках. Безусловно, одна из задач альманаха — вызвать интерес к работе автора. Пусть и давно завершившейся в силу хода времени работе. В данном случае — к оригинальным стихам известного переводчика. Подробное же представление — дело индивидуальных изданий.

Таким же образом — в жанре знакомства — составлена и прозаическая часть альманаха. Формально под грифом «проза» опубликованы лишь шесть авторов. Да и то, как минимум, в четырёх случаях мы имеем дело с краеведческим, историческим или литературно-критическим материалом. Подобный подход абсолютно вписан в базовую тенденцию альманаха. Основная часть материалов посвящена различным аспектам истории города Александрова и предшествующей ему Александровской слободы. Краеведческая область крайне интересна и выходит далеко за местные рамки. Сравнительное же краеведение образует в совокупности подлинную историю страны — на уровне сословий, экономики, быта и всего, что неуловимо, но радикально меняется в ходе жизни каждого поколения.

Хотя для литературы город Александров — это прежде всего Цветаевы. Тутотная жизнь их семьи была фундаментальной темой первых двух выпусков альманаха. Новый том тенденции не изменил. Один из первых и самых обширных его материалов — письма Ирины Карсавиной, дочери философа Льва Платоновича Карсавина, Еве Мирской. Переписка, естественно, имеет отношение к Марине Цветаевой, бывавшей гостьей семейства Карсавиных во времена французского детства Ирины.

Публикация почти мгновенно вызвала резонанс. В материале для «Комсомольской правды»¹ поэт и критик Евгения Коробкова, отметив важность новых свидетельств, тем не менее, пишет: «Воспоминания носят крайне негативный характер. Карсавина критикует саму Цветаеву, ее мужа, внешность поэтессы, ее методы воспитания детей и антисанитарию в доме». И далее: «Во-первых, в наше время Цветаева стоит выше любой критики, поэтому вряд ли чьи-то воспоминания могут ей повредить. Во-вторых, всё, что связано с Мариной Ивановной, имеет огромную ценность. И, в-третьих, в воспоминаниях содержатся редкие сведения о том, как проходили вечера Цветаевой за рубежом, что, безусловно, будет интересно исследователям».

Попробуем уточнить сказанное в рамках той же трёхчастной структуры.

Во-первых, Карсавина действительно пишет, к примеру: «Не можете ли Вы поделиться со мной Вашим мнением насчёт того, почему такой *engouement* (сильное увлечение) Мариной Цветаевой? Ведь она всё-таки не первой величины поэт», но почти тут же указывает, что стихи соответствовали личности и сильно выигрывали в авторском исполнении: «Всё становилось понятным, трагичным, а не грубым и резким, а чрезмерная эллиптичность оборачивалась полётом чистейшей поэзии. Мне кажется, что, когда Марина Ивановна писала свои стихи, она их слышала, будто кто-то диктовал их, или они звучали сами по себе, вне её воли. Кстати, она была очень музыкальна. Её стихи в её чтении были совсем другие, не те, что звучали в чтении других, и я не удивляюсь, что её сестра Анастасия Ивановна так раздражается на современное эстрадное чтение стихов Марины Ивановны». То есть, назвать мемуары однозначно негативными сложно.

Во-вторых, Серебряный век завершился чуть менее ста лет назад, а его наследники по прямой и боковым линиям до сих пор во многом определяют лик русской поэзии. В подобной ситуации сложно быть объективным. Всё меняется ужасно быстро.

В материале, следующем почти сразу за письмами Карсавиной и посвящённом особенностям личности и поэзии Софии Парнок, автор, Олег Лобачёв, отмечает, что именно Парнок «...принадлежит авторство формулы “большой четвёрки” русских постсимволистов: Б.Пастернак, М.Цветаева, А.Ахматова, О.Мандельштам». Согласимся, в наши дни незбылемым кажутся лишь позиции последнего из упомянутых авторов, а на современных стихотворцев влияют совершенно иные представители той эпохи.

А в-третьих... А в-третьих, будет сразу два смежных пункта. Ибо эпистолярные мемуары Карсавиной не просто личные. Они личные в нескольких смыслах. Вот очень характерный пассаж: «Мои же воспоминания нигде не напечатаны, да и не будут, во-первых, у меня таких и связей нет, а во-вторых, нет и большого желания видеть себя в печати. Они написаны для двух подруг моей юности, одна из которых когда-то слушала Марино чтение в нашем доме, в предместье Парижа *Clamart'e* (Кламаре). Но, если Вы этим интересуетесь, могу для Вас переписать и послать Вам в Минск. Только не очень скоро, т. к. у меня сейчас много работы и другого писанья и вязанья. Приходится вязать: ателье портят все проймы, только юбки им и можно доверить, а портниха моя совсем состарилась и ничего уже не может». Даме семьдесят шесть лет. Её собеседнице примерно столько же. За спиной типично-кошмарная жизнь в соответствующей эпохе: война, суды, колонии, хроническая материальная недостаточность: в таком-то возрасте шить, хотя бы и на себя! И тут же — обсуждение мод и стиля. В совокупности написанное не пересказать, это читать надо.

Столь же индивидуальны и несводимы к какому-либо доминирующему пункту интервью Льва Готельфа с очень интересными собеседницами. Предупреждение может показаться несколько путанным: «Могут ли две женщины одного мужчины, одна из которых бывшая жена, а другая настоящая, стать подругами на всю жизнь? Могут. Это подтверждают публикуемые ниже воспоминания о своих бабушках Маргариты Андреевны Мещерской — внучки Анастасии Ивановны Цветаевой — и Елены Марковны Устюжаниновой и Марины Евгеньевны Коптевой — внучек Марии Ивановны

¹ *Евгения Коробкова. «Опубликованы откровенные воспоминания о Марине Цветаевой» («Комсомольская правда», 12 декабря 2021).*

Кузнецовой-Гринёвой». Однако в ходе разговоров семейно-дружеские отношения делаются понятными. Только понятными именно в плане дружб и родства. Внутри же семейств происходило разное. Формируется впечатление, будто рассказчицы проживали параллельно несколько жизней — в разных странах и в разных семьях. То есть, не в том дело, что со временем и страны, и семьи менялись: они словно и синхронически существовали в разных измерениях. В прозе, даже в хорошей, даже в «основанной на реальных событиях», обычно так не бывает. Там почти с необходимостью существуют некие доминанты, типизирующие быт. А в жизни — вот. Бывает. Для отражения даже самых базовых особенностей потребовался бы тотальный пересказ текста, поэтому отмечу лишь максимально аккуратно: не все особенности старорежимного воспитания в интеллигентных и очень приличных семьях кажутся по нынешним временам педагогически верными.

Все биографические материалы тщательно подготовлены и снабжены подробными комментариями. Иногда комментарии эти кажутся трогательно-избыточными. Вроде: «Патриаршие пруды — общее название местности, расположенной в Пресненском районе Москвы, куда входят пруд, сквер и микрорайон. Микрорайон находится вблизи Садового кольца между Малой Бронной улицей, Большим Патриаршим, Малым Патриаршим и Ермолаевским переулками. Парковый комплекс занимает 2,2 гектара, из которых дорожкам и площадкам отведено 6323 м², а зелёным насаждениям — 7924 м². Площадь пруда 9900 м², его глубина достигает 2,5 метров. Каток на Патриарших прудах — это один из самых старейших катков в Москве, который пользовался популярностью среди москвичей и гостей столицы ещё в XIX веке. В наши дни он является вторым по величине бесплатным катком в Москве, площадь ледового покрытия составляет около 12 тыс. кв. метров. В ночное время для удобства посетителей включается специальное освещение. В непосредственной близости от ледовой площадки установлена точка быстрого питания, где всегда можно согреться горячим чаем и кофе, а также перекусить».

Но вот тут являет себя, пожалуй, важнейший момент. Именно такие очевидные для современников мелочи спустя годы и десятилетия становятся главными. Они составляют портрет эпохи. Причём изменчивый портрет: тут глаз зрителя не менее важен, чем живописание автора. Это очень заметно при чтении альманаха.

Постараюсь объяснить мысль на одном из самых мощных материалов издания. Называется он «Я, сынок, был на другой войне...» и представляет собой записи офицера Дмитрия Муравкина, опубликованные его сыном. Буквально несколько цитат с минимальными комментариями:

«Мы заночевали в редком уцелевшем двухэтажном доме. Хозяева неприветливые, в первую ночь они даже не дали нам никакой подушки. Пришлось подкладывать свои жилеты и обмундирование, но уже на другой день появились две подушки, матрац, хозяева стали более разговорчивые. Фронт откатился на запад, но всё равно хорошо слышна артиллерийская канонада.

<...> Паненка рассказала, что им всё равно, немцы к ним пришли или русские, что они немцев, как и нас, не приглашали и для них все мы — оккупанты. Вообще, с ними интересно иногда разговаривать. Ведь странно слышать, что все они верят поголовно в Бога, нас всех и меня тоже считают коммунистами и большевиками, не знают, что такое колхоз, и многого другого. <...>

В освобождённых городах из подвалов вылезают русские, украинцы, поляки, французы. Все грязные, но с полными чемоданами идут на Восток. А наши славяне сразу же разбегаются по уцелевшим домам в поисках трофеев, переворачивая всё вверх дном. Можно сразу определить по вороху хлама в доме, что здесь уже «навели порядок» солдаты. Правда, я вчера лично расстрелял одного узбека, который изнасиловал фрау на глазах её детей, а потом убил и с мёртвой снял все украшения и браслеты».

Тут, комментировать, конечно, только портить; узбек безусловно наработал себе на приговор, но всё равно: вот вчера с этим человеком рядом воевал, а сейчас без суда

и следствия расстрелял. Ужас какого-то особого рода, дополняющий рассказы о более запечатлённых в прозе иных военных кошмарах.

О подобном долго-долго не говорили и не писали. Затем какое-то время писали почти исключительно о таких вот аспектах войны. Настало ли время синтеза? Сложно сказать: факторов влияет слишком много. И старых, и новых.

В конце апреля 1945 года автор воспоминаний был довольно тяжело ранен, выхожен немецкими врачами и медсёстрами (под присмотром победителей, правда). Медсестёр после этого называл не иначе, как «немочки» и был ужасно благодарен. Но вот насчёт сослуживцев и поляков разочарование лишь усиливалось: «Во всех вагонах длилась пьяная оргия, сопровождавшаяся драками и массовыми избиениями поляков-спекулянтов. Когда в нашем офицерском вагоне всё уже продали, хлопцы стали попросту отбирать водку у поляков. Где-то стреляли, а где-то грозили полякам милицией. Таким образом мы набрали литра три самогона. Я под впечатлением победы долго ползал по вагону и играл на аккордеоне до тех пор, пока меня не погрузили в машину и не увезли в госпиталь. Так я и встретил день Победы...» — Вот откуда в людях столько креатива, чтоб вооружённых победителей и, как ни крути, — освободителей в День Победы не бесплатно поить, а водку им продавать? А если считать советскую армию оккупантами, так продавать водку за золото им ещё страннее. Смелые люди эти поляки.

Наверное, выйди альманах в планируемый срок — к финалу 2021 года, восприятие этой публикации (да и некоторых других) было бы чуть иным. А теперь возникает множество ассоциаций с разными и противоречивыми сведениями, поступающими из новых немирных краёв.

Но как бы ни были грустны события дней текущих, сколько бы ни вызывали параллелей, хочется разглядеть за выходом альманаха что-то более непреходящее. Чему надлежит остаться надолго. Тем более, есть с чем сравнить. Был у нас «альманачный период». Так Белинский назвал двадцатые-тридцатые

годы XIX века, когда тон задавали не столько журналы, имевшие уже к тому времени некоторую историю, сколько «Полярная звезда», «Мнемозина», «Северные цветы», «Уrania», «Подснежник». Странно, но все эти издания, оставившие след ярчайший и долговременный, выходили недолго, два-три года, и, стало быть, имели такое же количество номеров. Исключение составили разве что «Северные цветы», выпустившие восемь своих книжек. Теперь, конечно, всё напечатанное в тех выпусках выглядит совсем иначе. По причине сменившихся культурных парадигм. Что-то вошло в золотой фонд, что-то оказалось в категории редких литературных памятников. Но отметим: в период своего выхода классические русские альманахи были именно зеркалами тогдашней актуальной литературы. Представляли немного разные картины? Так ни одно зеркало не отразит всей своей окрестности.

Спустя годы положение изменилось. Знаменитые «Тарусские страницы» оказались явлением культурной памяти. Хотя основной целью было заявлено открытие талантов. Но первый номер остался надолго единственным — второй вышел лишь через сорок два года и стал откровенно мемориальным. Третьим отметили полувековой юбилей издания.

«Метрополь» вышел однократно и тиражом 12 экземпляров. Имел вяжущий вкус запретного плода.

И вот очень интересно: какое место предстоит занять в этой компании «Александровской слободе»? Надеюсь, именно то, о коем я попытался сказать: отражение долгой нашей государственной, региональной и культурной истории; нашей литературной истории, пропущенное через окуляры новых дней. Да, четверть века — немало. Но меньше, чем пятьдесят лет. Всё-таки можно отрефлексировать свой тогдашний взгляд на мир и слово, сравнить с нынешним. Сказать об этом, если получится. Остается надеяться, что следующий выпуск не заставит ждать себя слишком уж долго. Очень мы невечные. И смертны всё более внезапно.

Евгений Абдуллаев

Колонизация, деколонизация...

Имперская и колониальная тема снова на повестке дня.

Была ли Россия колониальной империей? Если да, то в чем ее отличие от других колониальных империй (и в чем сходство)?

Наследует ли Россия своему имперскому и колониальному прошлому (опять же, если мы утвердительно отвечаем на первый вопрос), и как это оценивать?

Наконец, как всё это связано с русской литературой, классической и современной?

Вопросы эти возникли, конечно, не сегодня.

«...Тоска по утраченной империи овладевает массами. <...>Единая для всех и доминирующая над всеми империя делается крайне привлекательна».

«Империя всегда начинается с того мига, когда очень много людей одновременно кричат “За что?!”». Им больно, им обидно, они работали, а их ограбили, никто их не защищает, никто за них не мстит. <...>Руки натурально тянутся к тяжелым предметам, а мозги — к Империи. <...>Империя в конце 90-х приняла роль суперавторитета, обещающего спасение».

Первая цитата взята из статьи Ольги Славниковой «Я люблю тебя, империя» («Знамя», 2000, № 12), вторая — из статьи Дмитрия Володихина «Неоампир» («НГ Ex Libris» 8 мая 2001 года). В обеих шла речь о делах литературных, конкретнее — о российской фантастике. Именно в фантастических и полуфантастических произведениях конца 90-х — начала нулевых активно разрабатывается идея воссоздания империи. Некоторые упомянутые тексты (прежде всего «Жаворонок» Андрея Столярова — о некоем народном «Походе на Киев») читаются сегодня как самосбывшиеся пророчества¹.

С «реабилитацией» империи начинает обсуждаться и проблема колонизации. В начале 2000-х у Александра Эткинда и Кирилла Кобрин, вероятно, независимо друг от друга, возникает концепция внутренней колонизации.

«Начиная с XIX века, — писал Кобрин, — русский правящий класс конструирует свой “Восток”, свой Orient внутри собственной страны. Роль загадочных чалмоносных

¹ Особенно в том, что касается международной реакции на этот «Поход на Киев» (не могу удержаться от пространной цитаты): «Европейский Союз в специально принятом обращении предупреждает, что ни в коем случае не допустит насильственного пересмотра границ. Украина — демократическое государство, признанное Международным сообществом. Всякое давление на нее будет рассматриваться как акт агрессии. Последствия такого шага могут быть очень серьезными. Европейский банк реконструкции и развития в срочном порядке предоставляет Украине льготный кредит и одновременно блокирует выплату траншей, уже согласованных, для России. <...> Даже горделивая Польша, у которой в связи с очередной сменой правительства и без того хватает проблем, широким жестом дарит Киеву соединение боевых вертолетов. Буквально за несколько дней Россия оказывается в изоляции на международной арене. <...> Только маленькая Белоруссия высказывается в поддержку “законных требований народов России”, да еще Китай в пространном обращении к Генеральной Ассамблее ООН предостерегает Объединенные Нации от поспешных действий» (Андрей Столяров. Жаворонок // «Знамя», 1999, № 6).

турок и мумифицированных фараонов играет собственный так называемый “народ” <...> “Русскому народу” приписывали основное качество, которым ориенталисты наделяли Восток — неподвижность и неизменность» («Неприкосновенный запас», 2008, № 3).

Эткинд выступил с близкими идеями немного раньше и суммировал их в книге «Внутренняя колонизация: имперский опыт России» (2011). Концепция внутренней колонизации была довольно убедительной и — что важно в этом разговоре — опиралась не только на исторический, но и на литературный материал. Имена Пушкина, Гоголя, Белинского, Достоевского, Лескова упоминаются во «Внутренней колонизации» даже чаще, чем имена российских государей и министров.

Книга Эткинда не была лишена и некоторых теоретических недостатков. В ней, например, не учитывалась этническая неоднородность самого русского правящего класса — та важная роль, которую в нем играли в разное время «мобилизованные диаспоры» (термин Дж.А.Армстронга): украинцы, евреи, армяне... И особенно немцы, — если говорить о петербургском периоде, эпохе наиболее активной колониальной экспансии; ему, в основном, и посвящена книга.

Кстати, близко к концепции «внутренней колонизации» рассуждают о судьбах России герои романа Владимира Шарова «Возвращение в Египет» (вышедшего в том же 2013 году, что и русский перевод книги Эткинда). Шаров и Эткинд были друзьями, с концепцией Эткинда писатель был знаком. Но роль «мобилизованных диаспор» в формировании русской империи проговорена в романе довольно внятно. Как рассуждает один из героев, с царствования Ивана III начинается своеобразный кадровый импорт в Россию тех, «кто знал, или делал вид, что знает, толк в государстве».

«Недаром еще до Петра I две трети столбового российского дворянства указывали, что корни их иноземные <...> После Петра и разговора нет. Татары и греки, литва, венгры и итальянцы, но, главное, немцы <...> — а всё оттого, что свои держали государство за чужое, злое начало и охотников строить его было мало»¹.

Впрочем, эта идея (об имперской власти в России как результате действия некой «иноземной» силы) не один раз прозвучала в романах-антиутопиях, на которые были так богаты 2000-е. В роли этой силы успели побывать и выходцы из мусульманских стран в «Маскавской Мекке» Андрея Волоса (2004), и хазары в «ЖД» Дмитрия Быкова² (2006), и китайцы в «Дне опричника» Владимира Сорокина (2009)... А в недавнем романе Бориса Лейбова «Дорогобуж» (2022) в Москве будущего говорят на смеси русского с китайским, а правителем является казах...

События последних двух лет только усилили интерес к вопросам имперскости и колониальности. Из сферы академических исследований (и литературных пророчеств) они выплеснулись в сферу злободневной политической риторики³.

Эти вопросы обсуждались в третьем и пятом номерах «Нового литературного обозрения» за прошлый год, в которых прошла заочная дискуссия «Русская литература и империализм»⁴. Коснулась она, прежде всего, самого понятия имперскости. Участники высказались против его некритичного использования. «Тема имперскости в немалой степени — продукт политической идеологии», а «то, что имеет идеологические основания, далеко не всегда бывает научно продуктивным» (Евгений Добренко). Что касается классической русской литературы, то она была столь же имперской, сколько и антиимперской. «Весь корпус Пушкина, особенно его проза, — это и песня новейшей империи, и ее подрыв» (Елена Фанайлова). (Не могу не согласиться:

¹ Владимир Шаров. Возвращение в Египет. М.: АСТ, 2013. С. 319—320.

² Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

³ Например, в Ванкуверской декларации, принятой в июле прошлого года на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявляется об «имперской и колониальной природе государства» (imperial and colonial nature of the state) в России.

⁴ Точнее, две дискуссии: вторая касалась статьи Евгения Брейдо «Комментарий к стихам Бродского “На независимость Украины”» (вызывающим после февраля 2022 года особенно горячие споры). Но предложенные редакцией вопросы и в первом, и во втором обсуждении были по сути идентичными.

сам когда-то писал об этой двойственности в отношении к империи у русских поэтов — «Знамя», 2016, № 6).

Затронут был и болезненный вопрос о применимости постколониальной оптики к анализу отношений между русской и украинской литературами.

«...Именно к российско-украинским отношениям проблемы имперства относятся очень нетривиально. Украинцы в Российской империи были не “провинциалами” в римском смысле, а частью имперской нации <...> Это не значит, что украинская культура подавлялась в меньшей степени — в иные годы напротив; но в основе этого подавления лежал именно страх перед расщеплением правящей нации. То есть это не отношения англичан и индусов, даже англичан и ирландцев, а скорее отношения англичан и шотландцев...» (Валерий Шубинский).

Стоит, пожалуй, лишь уточнить, что «правлящей нацией» украинцы — наравне с русскими — были не в национально-культурном, а именно в имперском смысле: составляли значительную часть административной, культурной и религиозной элиты. Что не мешало этим же элитам последовательно русифицировать Украину и подавлять любые устремления к автономии. Такова логика империи: за карьерный рост необходимо расплачиваться отказом от собственной национальной и культурной идентичности, и чем выше по иерархической лестнице поднимается имперский функционер, тем выше эта плата (в национальном государстве — всё с точностью до наоборот).

В этой оптике противоречия, накапливавшиеся с середины 2000-х между Россией и Украиной, оказываются противоречиями не между антизападничеством и прозападничеством (как это видится многим право-консерваторам) и не между «диктатурой» и «свободой» (как видится многим либералам), а между логикой *империи* и логикой *национального государства*¹.

Украина, как и почти все постсоветские государства, развивалась и продолжает развиваться по логике *национального государства*. Россия — по логике *империи*. Предпринятая в начале 90-х попытка выстраивания национального государства оказалась не слишком удачной (породив дезинтеграцию уже внутри РФ) и была быстро свернута.

То, что именно в случае с Украиной столкновение этих двух логик привело к таким трагическим последствиям, и объясняется во многом той важной ролью, которую Украина еще, по историческим меркам, недавно играла в имперской истории России.

Можно заметить, что обе логики, имперская и национальная, обладают определенной слепотой в отношении Другого (этнически, религиозно, лингвистически...). Логика империи склонна игнорировать инаковость Другого; логика национального государства — напротив, воспринимает ее слишком чутко и болезненно, как угрозу. И та, и другая склонны эту инаковость нивелировать и ассимилировать: через колонизацию (в случае империи) или дискриминацию (в случае национального государства).

И задача литературы (настоящей) — выйти за пределы обеих этих логик; увидеть эту инаковость Другого, попытаться ее понять и передать. А также разрушать стереотипы, с этими логиками связанные.

Поэтому, возвращаясь к дискуссии в «НЛО», можно пожалеть, что ее участниками почти не был привлечен материал современной русской литературы. Лишь Марк Липовецкий упомянул имена Дениса Осокина, Алексея Иванова, Гузели Яхиной и Алисы Ганиевой (в контексте «постсоветской реакции на империю и имперскость»)².

Вместе с тем только за последние два-три года вышло несколько интересных и талантливых романов, в которых тема имперскости и имперского Другого отражены

¹ При этом, как отметили и некоторые участники дискуссии, империя сама по себе не лучше и не хуже национального государства. «Если просто говорить, что империя — это плохо и опасно, мы рискуем повторять до бесконечности аргументацию сторонников национального государства, которые боролись в XIX—XX веках за независимость от тогдашних империй — но в сегодняшнем мире уже и национальное государство вместе с идеей национализма постепенно выглядит столь же устаревшим, как и империя» (Илья Кукулин и Мария Майофис).

² Подробнее остановился на современных авторах Дмитрий Кузьмин, но речь у него идет только о поэтах (Канате Омара, Павле Банникове, Сергее Тимофееве и т.д.).

на широком историческом и этническом материале. «Пароход Бабилон» Афанасия Мамедова (Азербайджан, 1930-е), «Комендань» Радиона Мариничева (советские финны, история и современность), «Холодные глаза» Ислама Ханипаева (Дагестан, современность), «Валсарб» Хелены Побяржиной (Белоруссия, история и современность), «Ак Буре» Рената Беккина (крымские татары, позднесоветский период и современность)...

Но, разумеется, нельзя требовать от одной дискуссии всеохватности; что-то неизбежно остается за кадром. К тому же тема колониальности в литературе активно обсуждается сегодня и за пределами «НЛО».

Константин Фрумкин в эссе «О метаколониализме» («Новый мир», 2023, № 10), размышляя о романе Киплинга «Ким», делает несколько интересных наблюдений о природе колониализма. К нему он, в частности, относит и «экспорт революции, организуемый и СССР, и Кубой, и Китаем», и «экспорт демократии (склонность к коему иногда называют “неолиберализмом”)». Интересны и размышления о колониальной природе Серебряного века, который был «Серебряным веком всей западной цивилизации, когда она собрала в горсть все богатства мира, все его развлечения и диковинки». Проблематичным кажется лишь термин «метаколониализм», который использует автор¹.

Дарья Басова (сайт «Вопросов литературы») пишет о необходимости учитывать опыт зарубежной антиколониальной литературы, а для начала — больше широкого переводить ее на русский. Благодаря чему «русский читатель сможет сам осмыслить и понять колониальный опыт из уст африканских, индийских, латиноамериканских, арабских писателей и поэтов, а не через призму англоязычных левых авторов, занимающихся *postcolonial studies* на своих уютных кафедрах»². Полностью поддерживая этот призыв, не могу, однако, согласиться с тем, что касается «призмы»: тут, похоже, преувеличение. «Русский читатель» подобных *studies* — очень узкий круг специалистов, занимающихся этой проблематикой (на своих, стало быть, «неуютных» российских кафедрах). Как раз желательно, чтобы знакомство с *postcolonial studies* было шире, — включая и их рецепцию, и критику (а там есть с чем подискутировать)³...

Наконец, упомяну — тем более что дело коснулось англоязычных исследований — прошедшую недавно ежегодную конференцию американской Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (Филадельфия, 30 ноября — 4 декабря 2023 года). Главной темой этого форума, в котором приняло участие около шестисот исследователей из США, Европы и постсоветских государств, была, опять же, деколонизация. Но об этой конференции надеюсь написать отдельно.

Пока же ставлю мысленное многоточие. Разговор об империи и деколонизации требует продолжения: с учетом всей теоретической сложности, идеологической нагруженности и той повышено-эмоциональной реакции, которую он провоцирует сегодня. Тем важнее говорить об этом: спокойно и, по возможности, безоценочно. Чтобы лучше понять современную литературу, понять современную историю, самих себя.

¹ Термин этот довольно давно, лет тридцать, присутствует в англоязычных постколониальных исследованиях: то как синоним «постколониализма», то как осмысление колониализма. Фрумкин (без всяких отсылок к этой предшествующей «биографии» термина) использует его в ином смысле — как «снисходительное, с оттенками чувства превосходства отношение к любой чуждой реальности, которое свойственно вообще человеческой природе». Значение, на мой взгляд, слишком широкое и несколько запутывающее. Многие индусы, китайцы и арабы тоже смотрели на европейцев с чувством внутреннего (культурного, религиозного, этнического) превосходства, но при этом колонизировались ими.

² Дарья Басова. О необходимости диалога с антиколониальной литературой // «Лёгкая кавалерия», 2023, № 5 (Сайт журнала «Вопросы литературы». <https://voplit.ru/column-post/o-neobhodimosti-dialoga-s-antikolonialnoj-literaturoj/>).

³ Как заметил в дискуссии на страницах «НЛО» Михаил Ямпольский: «К сожалению, сегодня исследования имперскости в основном воспроизводят модель, разработанную американскими постколониальными исследованиями. Эти исследования мне не кажутся адекватными для анализа российской ситуации».

Борис Минаев

Классный час

Несколько лет назад «ДН» опубликовала пьесу белорусских писателей Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак «образ чацкого скачать бесплатно» — именно так, всё с маленькой буквы.

Идея пьесы простая: в класс приходит новый ученик, который ведет себя в точности по модели Чацкого.

«ЗИНАИДА ПАВЛОВНА. Погоди! Если бы ты впитал в себя морально-нравственные идеалы, которые заложены в золотой фонд русской словесности, ты бы вел себя совершенно по-другому. Внимательно слушал бы старших, не перебивал. И не выпячивал бы свое мнение!

ДЖОРДЖ. Как Молчалин?

ЗИНАИДА ПАВЛОВНА (*сбита с толку*). А при чем тут Молчалин?

ДЖОРДЖ. Ну, это же он говорил: “В мои лета не должно сметь свое суждение иметь”?

ЗИНАИДА ПАВЛОВНА. Нет, Молчалин — это... совсем другое. Я имею в виду, что не стоит дерзить людям старше себя, не стоит возражать им по поводу и без повода...

ДЖОРДЖ. Как Чацкий?»

Как писала критик Ольга Гертман (в ноябрьском номере «ДН» за прошлый год): «...А юный правдолюб всё напирает и напирает, — уже прямо от имени Чацкого: явился бы сюда Чацкий, что бы он вам сказал? — да вот: “Вы посмотрите на эти лица, вы серьезно думаете, что ваша болтовня про Грибоедова кого-то трогает? Да они или спят, или в телефонах по уши! Им ваша литература — как козе баян!” <...>

Постепенно оказывается, что все эти ребята <...> ведут себя в точности по грибоедовским моделям».

Идея для подростковой пьесы просто прекрасная, но возможен ли сегодня Чацкий, даже в образе трудного, хоть и сугубо интеллектуального, подростка? Вряд ли. Чацкий (и его реальные прототипы, и сам он как литературный герой) — дитя своей эпохи, то есть законов жанра, этики и морали, явленной именно тогда.

Пьеса Жвалевского и Пастернак — в каком-то смысле игра. Игровое начало в ней — главное.

Но есть в этой, в чем-то даже привычной, начиная с шестидесятников, игре — некая большая, густая тень, которую отбрасывает легкий, остроумный и просто острый текст.

Некий слишком глубокий, и оттого слегка пугающий фон, теряющийся в тревожной темноте, — это сама школа.

Школа как вечная субстанция, обладающая сказочной загадочностью, атрибутами «волшебного леса», в котором немудрено заблудиться и даже погибнуть.

Почему возникает такой эффект?

Возможно, в силу вечности, даже древности и неизменности всех школьных атрибутов, правил, привычек, ролей, антуража и интонаций. В этой неизменности абсолютно точно есть что-то загадочное и потустороннее. Все изменилось за сто, предположим, лет — политика, техника, социум, отношения людей, семья, мода, да и школа попробовала измениться, но нет, ничего не получилось. Школа не может измениться.

Отсюда и идет это ощущение мистической тайны, волшебной загадки.

Дети, вполне себе современные, и учителя, тоже вполне себе из сегодня, из сейчас — становятся атрибутами этого волшебного школьного леса.

Его персонажами.

Я вспомнил пьесу Жвалецкого и Пастернак неслучайно. Недавно в Театре Наций состоялась премьера спектакля «Борис Годунов». Молодой режиссер Пётр Шерешевский предложил свое видение — отнюдь не школьное и не хрестоматийное, но воплощенное именно в школьном пространстве.

Первые несколько минут я ничего не понимал. Школьный спортзал: снаряды, маты, баскетбольные щиты, мячи. Дети. Множество вполне себе «посторонних» (то есть не имеющих отношения ни к царевичу Димитрию, ни к детям Годунова) детей на сцене. Годунов свои монологи очень часто обращает именно к ним, говоря задушевым, ласковым голосом Заслуженного учителя Российской Федерации.

Абсурд.

Но чем дальше, тем яснее становилось, что привычные, даже затертые слова в этой обстановке звучат каким-то удивительным образом: свежо, ясно и парадоксально.

Тут, правда, надо сделать одну оговорку. Этот текст Пушкина, несмотря на всю свою «школьность» и «хрестоматийность» неизменно звучит очень остро. В любое время. Такова уж наша российская история, она всегда дает повод приложить к текущим событиям именно эту пушкинскую линзу, — и любимовский «Годунов» в театре на Таганке, который был восстановлен в 1988 году, после возвращения Юрия Петровича из эмиграции, и многочисленные оперные постановки последних лет — все отсылали нас именно к окружающей реальности. Кто и что имелось в виду — Горбачёв, Ельцин, в целом политический строй, — было даже неважно. Можно было одеть героев в костюмы современной бюрократии, выпустить на сцену нищую толпу в турецком или китайском шмотье с вещевого рынка, людей в камуфляже с резиновыми дубинками, — то есть просто мимоходом рассыпать знаки сегодняшнего. А можно было и не делать этого, в воздухе так или иначе повисало напряжение, текст начинал сам перерабатывать новую реальность.

Но дети... Но школьный спортзал...

Почему это так неожиданно, так загадочно и так ясно прозвучало именно сегодня?

Вот как сам режиссер это объясняет: «Образ спортзала, как места унижения и индивидуального ада, пришел мне во сне. (“Сны. По мотивам исторической драмы Александра Пушкина” — жанровое уточнение названия спектакля. — Б.М.) Мы попадаем в этом спортзале в некое безвременье — то ли это наши детские годы, то ли сегодняшний день. Согласно логике сна в спектакле нет линейной истории, в нём одно наслаивается на другое, и это позволяет более широко взглянуть на вопрос совести и посмертного воздаяния. С другой стороны, это история о том, как на смену

одной власти приходит другая, но нравственности нет ни у первой, ни у второй. Могут меняться лидеры, идеология, но суть остается прежней».

...Не знаю, я спортзалы всегда любил. Не школьные, конечно. И я понимал, что для каких-то ребят и тем более девочек из моего класса эти уроки физкультуры всегда становились пыткой. Страдающие одиночки, подвергающиеся буллингу — важная часть школьного ландшафта, «волшебного леса», они там есть всегда. Я это точно знаю, я сам таким был.

Но здесь, конечно, дело совершенно не в буллинге и не в «школьном аде». И логики сна я в спектакле тоже не вижу. Режиссерская игра стоит на глубоко логичной, строго математической, рациональной даже основе.

Речь идет, как мне показалось, о самом глубоком, бездонном качестве зла — его обыденности. Зло обыденно. Зло привычно. Зло нельзя выделить из вещества жизни, оно в нем растворено. Это только в кино, в массовых мифах, в штампованных новостях зло броско окрашено и облачено в соответствующие костюмы: бандитские пиджаки, устрашающая военная форма, мрачные физиономии и общий злодейский вид.

В жизни не так.

Мы живем рядом со злом, мы здороваемся с ним за руку, садимся с ним за стол, обсуждаем погоду, мы вообще с ним живем.

Чтобы показать это, более яркого образа, чем школа, пожалуй, не придумаешь.

Борис Годунов (актер Игорь Гордин) — высокий, статный, благородного вида мужчина, идеальный «директор», обращаясь к детям с монологами о природе власти, о судьбе правителя, как бы ведет урок, рассказывает сказку, объясняет главу из истории. Его интонация звучит успокаивающе-мягко, бережно, ласково.

Это же дети! Их нельзя пугать! Им нужно объяснять, как всё на самом деле устроено, учить уму-разуму, говорить, что хорошо и что плохо...

Что-то очень знакомое в этом есть.

Власть явлена тут в образе «отца», учителя. И мы, «дети», не можем усомниться в его правоте. Она дана ему изначально.

Мы можем шалить, беситься, убегать, как делает это Лжедмитрий, но сомневаться в том, что это наш «отец», наш «директор школы», мы не можем. У нас нет такой опции и такой возможности.

Власть, в свою очередь, имеет дело не с гражданами, не с подданными даже, а с обыденной жизнью, с рутинной, привычной реальностью, где всё неизменно всегда, где ничего нового не может и не должно происходить: дети, родители, семьи — процесс вечный, неостановимый.

Власть просто один из атрибутов этой человеческой вселенной, ее нельзя менять, она может поменяться только сама.

Ну а как же интриги, бунты, свержение прежней системы, вся эта сложная политическая кухня, описанная Пушкиным?

Пётр Шерешевский не просто перенес трагедию Пушкина в неожиданные обстоятельства и придал ей очень странный антураж. Задуманная им игра — своеобразная пьеса внутри пьесы, здесь можно многое: убирать куски текста или менять их местами, видеть иные смыслы, добавлять новые слова.

И тем не менее именно благодаря этому подходу текст снова становится *нашим*, сегодняшним, не театральным, а словно выхваченным из жизни.

Надо сказать, что и основные герои «годуновской администрации» — Шуйский, Пушкин, Басманов (актёры Сергей Беляев, Виталий Коваленко, Александр Кудренко),

те самые, что у Пушкина злостно интригуют и в конце концов свержают надоевшего им тирана, в изображении режиссера — тоже самые обычные, самые рядовые чиновники, «номенклатура», основной закон жизни которых — угодить главному, угадать его желание, не высовываться с лишней инициативой, споро и незаметно двигаться в общем строю. Так сказать, педагогический совет школы... Или бюро обкома, или коллегия министерства, названия не важны, чиновники были и есть всегда. Пойти против власти они могут в одном только случае: если власть становится противоречива, то есть если власть сама идет против себя.

В этом смысле заигравшиеся подростки (а именно такими рисуют образы Гришки Отрепьева и Марины Мнишек актеры Даниил Стеклов и Юлия Хлынина) — это не самостоятельные игроки, не субъекты истории, а лишь повод, триггер внутреннего конфликта «сошедшего с ума» Годунова.

Да. Власть может сходить с ума. Власть может идти на конфликт с собой. Это в принципе возможно. Но общие законы российской жизни — весь этот «школьный спортзал», вся эта механика отношений — не меняются.

...В любом «Годунове», какой бы ни была постановка, всегда в конце есть выход, забрезживший свет, некий ураган, сметающий закосневшее правление, старое и обрыдшее. Народ безмолвствует, «элита» предает, бунт, переворот, история мчится вперед, она не терпит застоя и косности.

Но не в этом «Годунове».

В этом — лишь звучит школьный звонок и толпы выбегают на переменку.

Summary

Alexander KAN. The Triangular Earth

This novel is a global attempt of an artistic interpretation of the age of changes — the collapse of the Soviet empire and the chaos of the post-Soviet existence — through a love triangle. In the tradition of Apuleius' "Metamorphoses" and Rabelais' "culture of folk humor" the author — in the forms of the finest allegories, quotes and associations — is drawing his picture of the world of the end of the XX century, the picture of sufferings, disillusionings and despairing of human souls and at the same time — of unshakable stamina and the faith in the divine purpose of the humans. We present here one part of the novel — "A Crazy Bridegroom".

Poetry

Felix CHECHIK's philosophic lyrics are about the tragedies of nowadays and everybody's as well as the whole humanity's responsibility for them. Mikhail RANTOVICH considers that "freedom can be tasted under the stars, in the air which is cold and bitter". For Rodion Marinichev important is the feeling of the link between the generations. Konstantin SHAKARYAN is trying "to read the fate by the alphabet book" and sees "both doom and lot" in a poet's life. Here you'll find his poems and his translations from the Armenian poet Babken SIMONYAN.

Elena TARILOVA. The Fairy Country of the Arab East

The author of this essay having the thirty-years-long experience of living in Dubai is telling of the mostly different aspects of living in this unique corner of the world which lately our compatriots are highly actively becoming familiar with.

Ilya FALIKOV. Forgiveness for the Mastery

In his essay the author is remembering his meetings with Alexander Mezhirov and meditating over his poetical evolution, personal paradoxes and the metier of a poet on the whole.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17, вход с Малого Гнездиковского переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру** в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»





По страницам «ДН»

«Мысль и сознание — то совершенно новое проявление живого вещества, которое сперва без самооценки и самосознания выявилось в социальных группировках человеческих обществ — на наших глазах закончилось захватом всей планеты человеком, сознанием его единства и всё усилившимся и всё углубляющимся общением. Расстояние между людьми исчезает, связь между ними является всё более непрерывной и глубокой. Единая организация всего человечества и организация для единого действия является идеалом и в той <слово неразборчиво; по смыслу: «трагической», «ужасной»> обстановке убийств и разрушений, которые мы переживаем в данный момент, когда явно для всех — так мне в первый раз кажется — ясной становится совершенно иная возможность всемирной организации всего человечества для безбедной жизни и для благоустройства биосферы, управления этой перестройкой умом. Биосфера — рано ли, поздно ли — превратится в ноосферу...»

**В.И.Вернадский.
Дневник 1940 года. 19 августа.
О ноосфере**

1993, № 9

